

ВИКТОР ЛИХОНОСОВ

## ЭХО РОДНОЕ

ВОСПОМИНАНИЯ

### СЛЕПОЙ МАЛЬЧИК, УНДИНА И ЧЕРКЕШЕНКА АИШЕ

Если бы не Тамань (Тмутаракань), совсем не та мелодия заполнила бы мою душу на юге; и совсем другим было бы моё житейское самочувствие без этой притаившейся напротив Керчи загадочной полоски.

Мне теперь смутно вспоминается, что в те дни, когда я выбирал город по “Справочнику для поступающих в вузы” и водил пальцем по карте, полубились мне чем-то одна точка и возле неё слово из шести букв и, может, сыграло ещё счастливую роковую роль то, что таинственно закралась в память прочитанная повесть “Тамань”. Не заманули бы меня так ни Анапа, ни Геленджик, ни какая-нибудь Кабардинка у Чёрного моря и уж тем более не застрелял бы я со вздохом где-нибудь в степи или в глухом кавказском предгорье. Нет! Русское предание зачаровало меня. И ещё что-то неясное.

Славное время тёмной наивности! Оно выстроило мою судьбу и удостоило счастья побыть рядом с матерью до её глубокой старости.

Это было так давно, и кажется порою, что всё придумалось мною в какие-то сиротливые мгновения. От Краснодара, в котором я укрепился, до униженного Лермонтовым “скверного городишки” двести тридцать верст. Мне суждено было ездить туда чуть ни полвека. И сколько бы раз ни приближался я к порогу станицы, первые хаты, пустырь на месте Фанагорийской крепости, дальние изгибы Керчи за водой, мыс у Лысой горы касались моей души загадочным молчанием. Я тотчас умирал в старине. Всё-таки хорошо писателю укореняться там, где дремлет много преданий и загадок. Я и ездил сюда вздыхать по тёмной далёкой утраченной жизни. И нигде так не возбуждалось во мне желание родиться бы пораньше, если уж не в пору Тмутаракани, то хотя бы при турках или первых высадившихся запорожцах. Да и чуть позже, “при слепом мальчике”.

Будет однажды отпущено мне найти в своих папках листочек с первой строчкой к “Тайне хаты Царицыхи” и прочитать с таким удивлением, будто это написано чужой рукой: “Что же я позабыл, что потерял в этой Тамани?”

В ту весну Пасха пришлась на мой день рождения, я доканчивал главу про любовные свидания офицера Толстопята в Петербурге, утомился, помог матушке высадить помидоры, написал друзьям в Москву и в Сибирь и вдруг загорелось мне отлучиться в Тамань, проветриться, постоять на круче у Лысой горы.

Как привык я ездить знакомой дорогой, мельком узнавать всё те же селения, фермы, указующие стрелки на порт Кавказ и на Анапу, начало Таманского залива, переезд на взгорье у Сенной.

Ах, Сенная! Уж мало кто думает, проезжая, что где-то в этих углах дед оратора Демосфена имел земли и бывал Митридат, но я-то всегда кланяюсь тому времени и тайно влекусь к берегу, где воздух насыщен йодом, где шла старая дорога, да я-то, уже наживший себе и м я, не забыл, как грезилась мне всего одно мгновение тонкая любовная повесть, какая робко-красивая мелодия взлетала чайкой над водою залива и каким счастливым казался бы я сам, если бы приняли меня сюда в школу учителем. Ах, Сенная, Сенная, не тронутая ни летописным, ни простым словом. Одни черепки на раскопках. И я не живу в этой тишине, а только проскакиваю мимо стрелки на Тамань, винного завода “Фанагория”, греческих холмов и низины справа. Вот опять Таманский залив, белёсые дикие оливы, тоненькое мелкое озёрце за посёлком Приморским, и ещё раз (и уже до Тамани) поблескивающий смиренный залив, на другой его стороне — гора Гнилая и с краю — очертание Гарькушей. Затем всегда трогают меня полоски домов, этаких камешков на смутном керченском берегу, и вслед им сердцу дано чуть обрадоваться таманской окoliце, призрачному острому мысу вдаль. Ещё привык я к тому, что суетливые главари сузили боковой застройкой улицу Карла Маркса (в старину Холодную), что музейно-декоративный лермонтовский сквер там же, танк на постаменте там же, а за ним, за тремя домами, Сухое круглое озеро с овцами и парочкой коров. Здравствуй, моя Тмутаракань, опять я твой тихий гость.

Приехал я тогда к вечеру, в тот самый час, когда копеечное белое солнце приседало к чёрному вытянутому мысу.

Уже через час вдруг затосковалось: а зачем я припёрся сюда? Буду ходить одними и теми же закоулками, всё тех же знаменитых и неизвестных усопших выкликать? Что меня тут ждёт? Повидать добрых знакомых? К моей нечаянной досаде выяснилось ещё, что мне негде переночевать. Сибирские мои друзья уехали к сыну в Москву, а добрый приятель мой, писавший про турецкие колодцы и сады, перебрался после смерти жены в Петербург до Нового года. Старая гостиница была на ремонте. Я называл её “гостиницей Чичикова”. Там в конце коридора алюминиевый умывальник с ведром под табуреткой, а по нужде постояльцы бегают к деревянной будочке во дворе. Назад в Пересыпь уже не выбраться, попуток не будет. Я приуныл. Столько лет толкаться в этой станице, прославлять её — и некуда деться... Зачем ни с того ни с сего сорвался сюда?

Не притворяемся ли мы, забираясь на следы гениев, что нам в их углах так хорошо и мы готовы остаться и никогда не скучать? Легко ли любить Тамань каждый день? Полна ли жизни литературная любовь?

Я вдруг смутился: зачем я опять здесь? Матушка просила подлатать забор, но я отпросился, снарядил сумку блокнотом, фотоаппаратом и Молитвословом и торопливо вышел к дороге на порт Кавказ. Душа утомлялась однообразием. Скучный покой лежал над крышами, во дворах и под кручами. Внизу у моря белела крохотная хатка на курьих ножках, лачужка, и было такое ощущение, что она еле стояла ещё до Лермонтова. За камышом виднелась наискосок пристань... Я свернул в Сенявину балку, скучно поднялся к середине, всё думая, зачем приехал, дошёл до угла.

Тут после пустоты явился жилой двор с двумя хатами, вторая служила кухней. Я очень любил эту простую обитель. Маленький огород закрывался с запада стеной; с огорода я как-то взбирался наверх, и там вмиг открывалось всё: раскопки, вдали — Лысая гора и мыс, по горизонту — Керчь, направо — пристань. Может, на этой круче и обитала хата, в которой ночевал герой повести Печорин? Во дворе за калиточкой стояла и словно ждала меня Надежда Семёновна. Сейчас строго спросит, привёз ли я ей обещанную книжку “Осень в Тамани”. Она моложе меня лет на двадцать, низенькая, седая, глазки острые, а в разговоре немножко поперечная: скажи ей что-нибудь — она тотчас поправит. Я всякий раз мучаю её вопросами о слепом звонаре, поручал ей допытываться у стариков, но она отказывалась: все умерли.

— Неужели меня караулите? Здравствуйте.

— А какой толк вас ждать. Где книга?

— В Пересыпи.

— А у меня в погребке вино вкусное, но не налью. Раз вы такой. Чего опять к нам? Каким ветром?

— Поволочиться за красотками, уговаривать их.

— Да они нынче сами уговорят.

— Не всякая. Моим красоткам изящно лгу я, приглашаю их на катере в Керчь, угощаю мороженым, плывём назад, и на берегу я понимаю, что дитя вежливо оставляет меня.

— Хочется вам приключений.

— Особенно бы в Тамани.

— А у меня в погребке вино вкусное, но не налью. Раз вы такой. Книжку не привезли.

— Мне переночевать негде.

— Пустила бы, постлала чистое бельё, камкой пахучее, да занято, сын с детишками с Казани приехал.

— Да я не прошусь. Соседка-то Ростиславовна дома? Она ж в Подмосковье у дочери.

— Зайдите.

— Пустят, дак вспомню, как мы первый раз с Ольгой тут ночевали. Заики жили. Хозяйка, две дочери-школьницы. Хата и рядом пристройка — тоже как будто из повести. Окошечко только не к морю, а на улицу выходит. Эту улицу возле раскопок я про себя зову улицей летописца Никона. Ясно, Надежда Семёновна?

Она как-то лукаво улыбнулась.

— Иду и думаю, что, возможно, лермонтовский слепой мальчик (а в старости слепой звонарь) жил в Сенявиной балке и, может, тут же возле вас, моя дорогая старушка, рядышком, сбоку, в такой заваливающей хатёнке, похожей на ту, что ещё недавно тулилась к морю, и где — вы же и говорили — жили двое, Адам и Ева по прозвищу. Тамань какая-то неисправимая, как при Лермонтове. Того и жди приключения.

— Вы, как ребёнок. Зачем оно вам? Слепой, горбатый. Столько лет прошло. Все поумирили, кого спрашивать?

— Место какое-то особое. Одни тайны. Надо было мне родиться здесь. Завидую вашему уголку. Продайте. Советская власть не позволяла лишний дом иметь, а то бы купить в балке, рядом с вами, тут тихо, море, земляная стена загораживает от ветра, близко раскопки, лесенку соорудить, поднялся — Керчь видна, живи, пиши, тоскуй. Каждый раз жалею, что такого счастья мне не досталось. А кто-то уже на краю рва топчется, будет дом строить, загадят Сенявину балку дворами с высокими воровскими заборами.

— Оно к этому и идёт.

— Где ж мне ночевать? У какой вдовушки? Лермонтова когда-то пристроили, а мне угла не найти.

— К Ростиславовне...

— Тогда пускали неизвестных без опаски. Я ночью встал и вышел в огород. А по берегу в Керчи цепочкой как-то свечечно горели огоньки. Как хорошо было на душе! И мы были такими молоденькими... Приехали на два дня подивиться, где это слепой мальчик с узелком спускался к морю? И на той высокой стороне балки говорила нам старожилка про слепого звонаря, того самого слепого мальчика в старости. И я с этим впечатлением уехал. Да в том же году в декабре стал вдруг, извините, писателем, напечатался аж в Москве. А через пять лет почему-то не прошёлся по дворам, ведь жили ещё такие старики, которые наверняка добавили бы что-то к этой легенде.

— Может, стаканчик пропустите?

— Боюсь, потянет искать двор какой-нибудь вдовушки, — пошутил я. — Ещё приеду. Не прокиснет.

Луна робко вошла над кладбищем и Покровской церковью. Я обошёл угол и тут же оказался перед хатой на взгорье, о которой только что рассказывал. Оттуда веяло сонной тишиной. Окошки были тёмные.

— Хозяйка! — крикнул я смело, надеясь, что тотчас возникнет тенью Ростиславовна, всегда ласковая со мной, говорливая. С мужем она давно

разбежалась, пил и скандалил, и выговаривал ей даже за то, что она держала под подушкой мою новосибирскую книжку “Чалдонки”.

Никто из сумерек не появлялся. Наконец, спустился к воротцам сперва хмурый, а мгновение спустя улыбнувшийся зять, пономарь, служивший с женой у батюшки Виктора в Покровском храме.

— Пустим с охотой, — сказал он и повёл меня наверх к двери старой пристройки, в которой мы с Ольгой и ночевали.

Могу теперь всем сказать: я застал в Тамани последние белые хатки под красной черепичной крышей, одна старше другой, и каменные заборчики, крымской или турецкой кладки, каких уже нет; вместо них — сплошные железные полосы, закрывающие чуть ли не весь дом. Застал я приметы вековые, патриархальные.

Заснул я не сразу, а огородам вышел к раскопкам, к дальним свечечным огням на керченском берегу

С Ольгой так же стояли мы под звёздами в первый раз, были местной жизни совсем чужими, никого не знали. Учителя русского языка в средней школе под Анапой. Я и не помню, как мы сюда добирались и на чем уезжали. Как в один миг изменится моя жизнь!

Через три года меня “примут в писатели” в Москве, осенью в Ялте я из Дома творчества писателей (где академик Лихачёв сам впишет в мой блокнот свой телефон) раза три схожу в Алушку в музей Чехова, а ещё через два привезу сюда из Коктебеля Олега Николаевича, и мы на этой же круче будем говорить о Бунине и о том ещё, что какие-то злые люди не пускают нас в Париж на недельку из-за переписки с его друзьями и с белым офицером. Ольга и не подозревала, что я могу так раскрыться. И стояла она со мной немножко унылая и вовсе не мечтала бывать здесь ещё, плавать в Керчь, ходить в Коктебеле в Лягушачью бухту, с Анастасией Цветаевой (сестрой Марины) полдня подглядывать в ленивой волне сердолики, агаты, опалы, яшмы и узнать от неё, что была она в ссылке в Къштовке, а это недалеко от Северного, а за Северным есть деревня Остяцк, где запомнились Вите чалдонки. Впереди вытянется ещё долгая, пока не известная жизнь. Школьные тетрадки заменятся амбарными книгами с заголовками и главами повестей и двух романов, писанных “своеручно” Так переменялась моя судьба. Матушка ещё жила в Сибири. А теперь она рядом, уже спит в хате, утомилась на ороде. Ольга с Настей в Краснодаре. Олег Николаевич в Коктебеле пишет биографию генерала Ермолова и с Евтушенко играет в теннис. А я похожу по следам слепого мальчика и черкешенки Аише.

Утром я опять вышел сюда же.

На круче, за раскопками, там, где уже поближе горбится Лысая гора и клонится к воде мыс, я долго глядел на Керчь — будто ждал, что на первом катере пристанет внизу и выйдет с этакой лёгкой котомочкой какое-то чудо в платочке и позовёт меня игривым взмахом нежной ручки. Так, помнится, я и раньше присматривался к живому ручейку, утекающему вдоль высокой зелёной стены к повороту направо.

“Всё читаем и думаем о старых событиях, — посылал я свои слова кому-то. — Интересно нам, кто кого завоевал, пленил, убил, в каком году покорили чью-то землю. И ничего о том, как стоял кто-то на круче, глядел на Керчь и ждал родную душу... И в Тамани... Кто плыл к князю? Какая гречанка томила душу воину? Стоял ли Митридат на этой же круче? Кому и что говорил? В Тмутаракани только и разбираем всякие смутные положения, всякие намёки, как преподобный Никон бежал в 1060 году от князя Изяслава в Тмутаракань да писал он или нет хвалу князю.

“...Пришёл Мстислав из Тмутаракани в Киев, и не приняли его киевляне”. А Мстислав-то (умилялись мы знаниями) был старшим сыном Владимира, крестителя Руси, и спорил он за земли с братом младшим Ярославом (Мудрым). “Пошёл Мстислав на Ярослава с хазарами и касогами”. И... “разделили по Днепру Русскую землю”. А в 1036 году Мстислав “разболелся и умер”. Так великие князья, всеми давно забытые, да ещё преподобный Никон, и водили меня по Тамани и после того, как я написал повесть.

Не отвязались от моей души и князя Роман (сын Святослава) и бежавший к нему князь Борис, и тоже бежавший 10 апреля 1078 года от Владимира Мономаха князь Олег Святославович. Живого слова от них из Тмутаракани к нам никакой ветер не донёс”.

От холмистого горизонта полз детской игрушкой катер, выросал, потом стали видны какие-то живые фигурки на палубе, чайки за кормой, кабина рулевого; было ощущение, что катер подкрадывается к таманским кручам с какой-то тайной, которая заколдовалась в Керчи. В прежние, самые первые годы ожидал я чудного обмана, пришествия с палубы какой-то желанной незнакомой души.

Катер растёт, пестреют одежды, скорей, скорей тянитесь к нам, ступайте на землю с пустыми базарными корзинами, с покупками в сумках, просто так, поднимайтесь вверх привычно жить или гостить. Так изо дня в день, из года в год кто-то подсмотрит с кручи за пристанью, кого-то поджидают внизу, иных надолго провожают в Керчь; разводятся по сторонам фигурки к Сенявиной балке, к памятнику запорожцам, пустеет белая полоса вдоль воды и сухой пахучей камки, мгновение исчезает, и только сиротливые кручи, морской простор и небо сберегут всё в себе.

Справа от раскопок роется с кручи вниз крутая тропа, я, цепляясь руками за траву, козлом соскакиваю до земли и выхожу к хатке на курьих ножках.

Кто это там маячит навстречу? Что это за женское привидение? И я узнаю милую таманскую особу и ловлю, как она узнала меня, улыбается себе самой и готовится что-то сказать мне. Я заговариваю первым:

— А что это вы, черноокая и тонкая в талии, так волбно плаваете по синему морю? Чему она, казачка, радуется, что она, соблазнительная и, наверно, коварная, празднует в своей драгоценной жизни?

Она стояла вся радостная, довольная моей лёгкой игрой.

— К кому плавала, молодлица? Уж не переманил ли её какой крымский татарин?

— Их и в Тамани хватает. Они русских не выбирают. Ездил в музей, искала в закоулках листочки про родню.

— Про Мысников? Вот я опоздал. С такой молодлицей искать род Мысников — одно удовольствие. Как вы похожи на сестру!

— Вы её видели? Мы иногда вспоминаем.

— Иногда... Зачем так редко? Сестрицу вашу я мечтал поставить на кровлю, а вас попрошу притаить ключ и в полночь открыть хату Царицыхи. Втроём и посидим при свечке. И вы почитаете родословную Мысников.

— Она короткая.

— А луна взойдёт, я посажу вас в лодку, покатаю, потом так же сестричку, потом она или вы начнёте меня топить.

— Это за что же?

— Луна, я не выдержу, стану ухаживать, сожму ваше запястье, начнётся борьба, как у Печорина с ундиной.

— Можно и не садиться в лодку. С вами весело. — Она помолчала. — И легко.

— Я не хочу быть Печориным. Побывать ночью в хате Царицыхи всё равно, что закрыться в том старом времени. Кто-нибудь придумывал такое?

— Вы первый.

— И последний. А потому ключик от всячего замка припасите. В полночь я взберусь от берега к воротцам и буду с замиранием ждать, как от белой стены оторвутся две женские фигурки. Я, подобно слепому мальчику, буду с узелком.

Мы посмеялись.

— Так кого вы обворожили и оставили в Керчи? Он, видимо, так и стоит на пристани и уныло машет вслед катеру? Он будет следить за своей ундиной с горы Митридата. И что вы везёте в изящном мешочке? Контрабанду? Признайтесь.

Личико её стало счастливым.

— Я заметил вас с кручи, когда вы ещё стояли на палубе и смотрели в мою сторону, но не признали меня, потому что женщина различает силуэт

того, кого любит. Разве не правда, дорогая? Протяните вашу белую ручку и поздоровайтесь со мной щёчкой. Кланяюсь. Не верится, что это вы. Такая небесная. Такое ощущение, что вы мне изменяли целых пять лет.

— Даже больше, — весело поддержала она мою игру, тотчас опуская меня к себе. — Я не изменяла. Незачем. Вы приезжаете редко и ненадолго, мимо нас только пробегаете, и я не успеваю вас полюбить.

— Чудно. Вы прелесть. Я приезжаю и всё тут за стариною больше ухаживаю, гулял по Сенявиной балке. А вас не призывал.

— Да куда уж нам! За вами гоняются, просят расписаться на листочке.

— Чаще всего старенькие дамы, читающие мемуары.

— Я тоже, грешная, читала “Осень в Тамани”.

— То писано давно. Сейчас я тоскую по слепому мальчику. Как хорошо бы, если бы вы с этим мешочком поводили меня в сумерках от бывшей Фанагорийской крепости и до мыса, у самой кромки воды. Или вы не такая?

— Какая?

— Я только сболтнул. Без намёков.

Я пытливо присмотрелся к ней. Вся она узенькая, какая-то восточно-гибкая.

— Глазки хорошие. Тёмные точки. Ну, в самый раз черкешенка. У-у-у, я недавно такое нашёл в архиве! Её звали Аише. Расскажу в хате. Пустите меня во двор, достанем лестницу, и вы взберётесь на крышу хаты, а я снизу буду с вами играть, пытать вас, как Печорин ундину в повести, дразнить, что-то спрашивать. Залезете вы с кувшином вина и глиняной кружкой, будете наливать мне, а я, поднимаясь ступенек на пять, возьму, выпью, и так несколько раз.

— О-о-о, я боюсь. Я упаду.

— А я поймаю вас с удовольствием.

— У вас сегодня игривое настроение.

— А глазки-то хорошенькие. Тёмные точки. Ну, в самый раз черкешенка. У-у-у, я недавно такое нашёл в архиве... Её звали Аише. Расскажу в хате. А где ваша сестрёнка?

— Дома.

— Вы с ней так похожи. Боюсь, что мне с вами станет так хорошо, что я перестану играть и замолчу. Зовите её, и мы поторчим немножко в хате. Ну!

Она задумалась, отклонив головку.

— Не положено, — сказала, — но приходите. Ладно уж. Ради вас начальство простит.

Сёстры встретили меня в сумерках за теми воротцами в огороженный камнями двор, которые в старину не были столь музейными, посудачили со мной в служебной пристройке сбоку, угостили монастырским чаем, потом к часу сияния луны над крышей перевели меня в призрачную хату Царицыхи, в жалкую комнатку с сундуком и кротким окошком. Я помню, как её строили. На том ли месте? Молодую вдову, сотрудницу музея, прислали на три месяца из Краснодара наблюдать и распоряжаться, она скучала в “гостинице Чичикова”, наконец, крышу покрыли, стены выбелили и создали толпу важных чинов и простых поклонников поэта, попустословили, простому люду накрыли столы в чайной, важные персоны тихонько отлынили ужинать в Темрюк в особом углу, и хата Царицыхи стала воображаться такой же древней, какой она досталась герою Печорину. Но я всякий раз соблазнился обманом и в комнатке с окошечком, сундуком и свечкой на широкой круглой тарелке смыкался душой с той неведомой ночью, когда тень слепого мальчика пробилась сквозь окно на пол лачужки.

— Спасибо, сестрички, — сказал я, уже размякший, чувственный, заполненный воспоминаниями о прочитанных историях, о себе в оные дни на крутом берегу. — Может, ещё кого позовём?

— Не-ет уж! — в один голос прокричали они. — Обойдёмся с вами. Нам завтра могут выговорить за самовольство, но ладно, стерпим.

Двойняшками ли принесла их в божий мир мама, я не спрашивал, но они были похожи как две капли воды: узенькие личики, у каждой прямой греческий носик, глазки зверьковые, быстрые, пальчики музыкальные.

Ради таких красоток мужчины обычно просят “налить ещё”, перед ними хочется заблестать лёгким разговором, поиграться в своё удовольствие.

— Я надавила своего вина, — сказала первая сестрёнка, — и хочу вас заворожить, не вас даже, а того таманского домового, который вас приведёт туда, где вам что-то откроется, и спустит вам с самих небес пропавшие голоса. Вы замечаете, как я говорю? Это неслучайно. Вот. Мы привыкли к этой хате, но не сидели ночью. А это так погружает в те времена...

— Спасибо случаю, что мы повстречались у пристани. Я вас так давно не видела.

— Это слепой нас столкнул, — сказал я. — Я тоже за столько лет не догадался прилечь на всю ночь на этот сундук... Иногда надо захмелеть от чего-то таинственного и стать наивным, простодушным до дурасти. Но я вас не заставлю клонить головки ко сну и стесняться моей бодрости. К утру отпущу.

Они улыбались довольно.

— Что я скажу, мои хорошие... А скажу я вам, сестрички, скажу я вам, что сидите вы со мной на том месте, где был пустырь, козы паслись, ведь Тамань ещё, слава Богу, не запаковали безумными жадными постройками, и я с моей супругой Ольгой Борисовной всю последнюю простоту и береговую тишину веков застала (особенно что-то тонкое звучало на закате, вода к стенам плескалась просительно, ребятишки на пристани ловили бычков и казались счастливее городских). Да хатка эта на курьих ножках у Сенявиной балки. Да Керчь как желанный призрак на горизонте. Да где-то за полями приставало к высоким стенам Чёрное море. Так же, как в повести, мы искали ночлег. Сейчас никто уже не пустит. А нас словно сам таманский домовый пристроил в хату, так похожую на старинную. У Заикиных.

Сестрёнки прислонились плечами, нежно столкнулись головками и так в смирении чего-то ждали, может, что-то вспомнили или помечтали о заветном, им только известно, с ними мгновение и останется (если память удержит его), а я подносил к губам и опускал на колено бокал, подносил и опускал, и глядел в тёмное окошечко. Кажется, я опять жалел всех, кого нету давно.

— Тесно как, — сказал я. — Бедный Печорин. Два эти окошечка роднее всего притягивают к старине. Сундук, спина печки. Если остаться на ночь одному, можно и поверить, что ты в той же хате. Только уж чересчур тесно, и как было поместиться с казаком?

— Как они тут жили? — Первая сестрёнка поводила взглядом по стенам. — Ужас. Не дай Бог так жить...

— Но если бы я сумел описать вас, сестрички, в этой хате волшебным образом, то через сто лет и о вас бы спрашивали некие любопытные чудаки. И легенды всё переврали бы, говорили бы, что вы турчанки, что вас привезли в Тамань из Стамбула, прабабушку вашу выкупили из гарема, турок потом изгнал Суворов, а родня ваша приютилась у казаков.

— Это уж чересчур, — отозвалась первая и поставила перед окошком бокал. — Лучше уж я стану черкешенкой, мою бабушку подобрали в ауле у горячей сакли, она выросла, и казак влюбился в неё.

— Таких историй в Кавказской войне было много.

— А я и есть казачка, — сказала вторая. — Мы из рода Мысников. Фёдор Мысник купил эту хату ещё до Лермонтова. У Фёдора было два сына, Григорий и Семён, и дочь Люба, та самая ундина, которую Лермонтов загнал на крышу.

— Говорит она чересчур вычурно, будто начиталась книг. А простая казачка.

— Мы от Григория. Наш дед Герасим. Есть бумага о земельном наделе.

— А отчего “хата Царицыхи”?

— А оттого, что Фёдор Мысник держал *царину* для покоса и пастбища, *царинник*, а уж Царицыха — это, наверно, кого-то из хозяек прозывали...

— Вы вошли в историю. Не помнят и не будут помнить станичных атаманов Гервасия, Боровика, Соколова, Майноха, а фамилия “Мысник” с этого двора полетит во все концы и закрадётся в разные книжки. И Сашеньку с Ирочкой тоже будут называть. “Из рода Мысников”.

— На Лермонтова можно обижаться. В повести мало примет Тамани. Напридумывал всякого.

— Да он пропал от тоски в вашей несчастной Тамани, — заступился я за поэта. — Вот если бы, когда он шёл от Фанагорийской крепости, и повстречались ему вы да этак зыркнули на него глазками, да чуток повихлялись бёдрышками, он бы на крышу вознёс перед Печориним не только какую-то ундину, но и вас. А так... шёл, шёл он по Холодной улице, ветер песок гнал в лицо, и ему было всё равно, кто выражает ему “здравствуйте” поклоном (так принято было в станицах). У Бога это осталось, и в небесах, сёстры мои дорогие (вино, правда, чудное...), в небесах до сих пор помнят, что там-то и там проходили мимо живые тени или возились во дворах казаки и казачки со звучными во времени фамилиями, прозвищами. Ну, наверно, попался бы на глаза Лисевицкий Иван, или его брат Павел, или его сын Нестор. Глянул бы на него из-под ладошки Авксентий Молибог, моргнул Иван Облап и, наоборот, отвернулся от поручика Рябушка Кирило, звали его в ту минуту вредная жена Настасья та дочь Васса. Брат Григорий Рябушка мог переключать сено и за что-то кричать на дочку Марфу, а жинка Дарья стояла на пороге и молчала. Прошёл какой-то офицер, подумаешь! Иван Гудзь расплодит свой род, и я с одним Гудзем, тоже Иваном, царским конвойцем, встречусь на улице Карла Маркса (бывшей Холодной) и потом опишу его в “Осени в Тамани”. Ну, а Игнат Черноморченко породит потомка, которому в огороде достанется клад с монетами и статуэтками. И его тоже Лермонтов проглядел, скучно прошёл мимо, как вот я утром гулял мимо таманцев — они живут себе, я себе. О чём больше беспокоился поэт, на кого взирал, кого ещё, кроме обитателей хаты, слушал, то покрылось молчанием, а как жаль, его-то слова о казаках и пригодились бы. Все прошли мимо...

— Софрон Бурло — откуда поэт мог знать его фамилию? Вы тоже ходите мимо.

— А Моисей Остапенко с дочерью Лукией... А Иван Толстопят, холостой малец, а Фома Запка, я буду в их поздней хате три ночи дремать, и нынешнюю спал — не спал, выходил на кручу. Так мимо нас (и мы мимо кого-то) проходит вереница людская, нетронутая нашим вниманием, а эти, что при Лермонтове, скрылись навеки, и мы досадуем... не все, конечно. Ведь никто ничего не записал, и прошлая жизнь досталась нам голой. И все шли тогда и шли мимо молоденького поручика, мелькали во дворах белые платки, женские голоса слышались и... чуть-чуть винца, пожалуйста... и голоса те где-то колышались тоненько (я верю), но к нам не слетят, жизнь растворяется во все небесные концы...

— А пра-авда... — певуче согласилась старшая... — Почему бы и не пожалеть. Приметил бы казачок, послушал их. Да хотя бы и влюбился — о, как написал бы, мы бы отгадывали, кто да какая?

Я протянул бокал к старшей, она с улыбкой отлила из кувшина тягучую меру.

— Умрут зачем-то женские голоса, а то были, наверно, голоса Харитины, Матроны, Парасковьи, Мелании, Агафьи, Фёклы, Аграфены, Анисьи, Стефаниды, Иулианы, и может, какой-то на миг (всего на один миг) побоялся поэт (или скрыл от нас, что желал бы обнять). Понятно говорю? Вино-то хорошее. И — дослушайте! — три дня в Тамани были мгновением здешней длинной жизни до него. История, мерцания судеб, всё заволочётся временем, сотрётся в прах, исчезнут даже кладбищенские кресты. Я давно хочу написать “Тамань после Лермонтова”. Мыслишки! Разрешаете написать? Подайте-ка мне свои пальчики. Старшая, ну, подсядь ближе. Младшая, ну, не пожалей своей чудной наливки. Вы, наверно, колдуньи. Видите, как я разговаривался. Вы, наверно, от той хаты что-то переняли, заманили меня, посадили на сундук и хотите сдать меня контрабандистам. Не бойтесь меня. Я хоть и укушу, то разве за ушко. Сперва попробую ушко старшей. А младшая возьмёт узелок слепого мальчика, выведет меня в Сенявину балку. Это для неё опасно. Там у меня всегда начинает томиться душа.

Сестры жалеючи глядели на меня.

— О, Сенявина балка... Что она скрывает? Ручеек в зарослях, в мелкой пропасти, и кто тут только не шептался, наверно: и греки, и татары,



и турки, и казаки. И опять пожалеешь, что все шёпоты погасли и с ними нежные души. Вот такой я ненормальный... Ещё винца. Эти пальчики прикоснутся не к клавишам, а к бокалу, волосяной светлой струйкой нацедят нектар, я поймаю минут пять, а потом... Там за дверью слепой нас не подслушивает?

— Он понёс узелок.

Мы сидели в потёмках. Только в окошечко со двора виднелся упавший лунный след.

Я успокоился и затих. Окошечко было такое же, как у нас в курятнике. Завтра надо будет позвонить в Ахтанизовскую насчёт корма. И угля мы ещё не привезли. Дров в сарае немножко.

— И вставать не хочется, — сказала вторая сестрёнка.

— Да! — взметнулся я вскриком и встал, раскинул руки. — Какая нечаянная хорошая ночь. Всё-таки даётся кому-то счастье — любить литературу. За вас, мои хорошие.

Луна, как нарочно, звонко светила на камышовую крышу и на белые стены — как в знаменитой повести “Тамань”.

Мы обогнули хату, смотрели в сторону Керчи, поговорили о пустяках, помолчали. Я в разные мгновения тихонечко цедил вино из бокала.

“И так же, как мы никогда не услышим, что говорили в этом дворе при слепом мальчике, старухе и ундине, никто не услышит и не узнает, чем утешались мы — две сестры, похожие на черкешенок, и стареющий писатель”, — подумалось мне да так со мной и осталось.

— Какая ночь... — сказала младшая и удалялась за ворота качаясь, потом томно кружилась и словно призывала восхищаться ею, идти за ней.

Я отставал, приближался, снова отставал.

— Запоминайте, — сказал обеим. — И спасибо, что пустили в хату, спасибо за вино, те люди не подумали угостить постояльцев. Словами не всё скажешь, но ходить по Тамани лучше всего ночью. Уйти на самый край, за Лысую гору, там уже пугливо, и это хорошо. Как-то давно стоял я в полночь там, где Белый обрыв, думал почему-то больше о волках. Ваше вино растрогало меня, всё вокруг немножко летит, струится всеми временами сразу, у всех жалеешь, кланяешься со скорбью, но никто, ни князь Глеб и Мстислав, никто не мешает мне подумать о матушке моей в Пересыпи, завтра картошки мне поджарит, не хуже, извините, вас винцом порадует из подвала.

Я сперва долгой паузой, потом упрямым взглядом, улыбкой призывал сестрёнок сострадать мне легонько.

— Давайте эту ночь запомним. Я уеду, а вы останетесь тут с греками, хазарами, византийцами, турками. Ночей в Тамани было много-много, и одна из них досталась нам. Такая. Гречанки, хазарки, татарочки — где их косточки? А теперь мы. На Керчь глядим. А потом поднимемся по Сенявиной балке. У моря на хатку на курьих ножках посмотрим. Будить никого не станем. Те-с! Я проведу вас тропками слепого мальчика, уж позвольте и мне поиграться. А ещё погуляем бережком от бывшей Турецкой крепости в сторону Фанагорийской, но до неё далеко, мы в Петренковой балке задержимся.

Мы спустились к воде. Младшая сестрёнка опять вышла вперёд, опять показывалась, словно звала за собой, подразнивала, обещала тайну.

— Что-то она размечталась, — сказал я старшей. — Ей полезно пить вино в коварной хате.

— Она играетя, с детства такая. Мы ведь ночами не гуляем. Рада.

Мы догнали её и все трое пошли на край пристани. Там грустно светил фонарь на столбе. Строчкой вытянулись дальние огоньки в Керчи.

— Хочу в Турцию.

— Если дадите согласие, я похищу вас и перевезу на турецкий берег.

— Вы начитались в архиве про похищения черкешенок да казачек.

— Не бойтесь. Дальше Керчи с вами не уеду. Сестрёнку возьмём? Она, наверное, уже дремлет. Хочется домой?

— Вы артист... Вы всегда немножко играете.

— Не всегда. Две глазастые казачки, похожие на черкешенок, балуют меня, мне, не скрою, хорошо, музыкально как-то. “Ничего, ничего, — душа моя не про-о-си-ит, кроме взгляда твоего”.

Сёстры словно примёрзли к настилу и молчали, как погибшие. Им хотелось, чтобы кто-то их полюбил и пел что-то такое же, византийское, для них...

Мы долго смеялись, баловались, придумывали разные сцены, вовлекали поэта в романтические истории и отпустили от пристани в Геленджик на встречу с государем Николаем Павловичем.

Часа два гуляли мы от хатки у моря до Петренковой балки и назад, за высунутый к морю гараж, вдоль высокой долгой стены.

Я всё резвился и будто ухаживал, рассказывал вычитанные мною таманские истории, напевал мелодии забытых романсов, крутился перед сестрёнками, как удалой молодец. Иногда мы все отдалялись, и я принимал к самому себе, к своим простым тайнам, заботам, переживаниям. А возникая перед сестрёнками, доносил им то, что говорил им в стороне про себя.

— В Тамани приезшему можно думать только о древности. Одно и то же чувствую. Я сюда приезжал раз сто. Топтался в основном по одним и тем же улицам и кручам. И видел одно и то же. С кручи поворачивался к Лысой горе, за которой, казалось, пряталась какая-то тайна. Керчь... Видна с огорода. Я завидовал тем, у кого огороды кончались у обрыва. Вода до горизонта. Вечером огни. Оттуда и туда ползут катера. Берега давно связаны роднёй. Здесь было какое-то особое одиночество. Прелестный край света. Но все крымскотатарские белые заборчики убрали, хаток с малыми окошками не стало; заборы железные, и эти проклятые гаражи. И прелесть удалённости от суеты исчезает. Сейчас в начале Сенявиной балки мы станем на том местечке, где кособоко держится моя любимая хатка. Как длинно я говорю...

Сестрёнки, стараясь пожалеть меня и утешить, порывом прижались с боков, мягкие груди их оберegli меня верностью, а щёки мои прикрылись головками. Тогда я уж вовсе как артист пропел ещё раз: “Ничего, ничего душа моя не просит, кроме взгляда твоего...”

Мы все трое затихли, окаменели, не шевелились. Я вздохнул.

— И никогда, тысячу раз буду повторять, никогда никто никому не расскажет, как сто, двести, пятьсот лет назад стояла троица у входа в Сенявину балку и к какому-то писателю прислонились две ундины. Да? Никогда. А вы хату наверху закрыли? А то какой-нибудь слепой утащит сундук.

— Теперь в Тамани нет слепых, — сказала первая и оторвалась от меня, повела за руку к Сенявиной балке. Вторая тихонечко вытягивала мелодию: “Ничего, ничего душа моя не...”

— Лермонтов такого счастья не знал, — сказал я. — Сразу две ундины зовут на крышу.

— Лестницы нет, — сказала первая.

— Залезешь, а что сказать? — сказала вторая.

— Придумаем какую-нибудь историю, — пообещал я. — Буду волочить-ся за вами, уговаривать, изящно лгать, позову уплыть со мной в Керчь. Ну? В Керчи угощу мороженым, в кафе “Парус” поболтаем о Турции, к вечеру назад, и тут, на берегу, я пойму, что вам хочется меня поскорее бросить. Так и останется мне на память только ласковый ветерок невинной встречи.

— Этого разве мало?

— Это, может, даже лучше всех прочих наслаждений.

— Безгрешней.

— Золотые слова. Не будем искать лестницу. С вами и так легко забавляться.

Я опять затих и нечаянно загрустил. В каждом берегутся свои, простые тайны. В Тамань выгнала меня печаль. Всегда мне казалось, что хоть ненадолго спасусь, отвлекусь там, где эта Лысая гора, этот пригибающийся к воде мыс, эти черепки на круче. Мы ничего друг о друге не знаем. Сестрёнки увидели меня удалым.

— А я... — подал я голос. — А я в хате так увлёкся вами, мои золотые, что забыл о той, о которой я с некоторых пор думаю всякий раз, как

проезжаю мимо пустыря, где была Фанагорийская крепость. Каждый раз (запомните и поревнуйте) тайной мелодией протянется мгновение (видите, как говорю), и я пожалею черкешенку Аише. Таманскую пленницу, как написано на листе: “из черкес и наречённой Прасковиёю”. И о ней-то поручик Лермонтов ничегошеньки не узнал.

— Вот я как чувствовала! — сказала вторая. — Зачем ему эта ундина?

— Аише было всего тринадцать годочков. Взял её на воспитание смотритель Фанагорийского провиантского магазина некий Дергунов (его я тоже вспоминаю, проезжая), “имеющий, — пишут, — при себе своё семейство”. Аише и жила у них в Фанагории, куда ходил Печорин отмечаться, читали? Спрашиваю потому, что большинство, кто тут по осени гуляет на лермонтовские дни, “Тамань” не читали, притворяются в любви к Михаилу Юрьевичу.

— Как интересно... — тихо проговорила первая сестрёнка. — Я теперь буду тоже думать о ней. Вы, наверно, сочиняете?

— Да нет, нисколючко. Я в архиве, когда наткнулся на семьдесят шестом листе, аж вскрикнул. Чудо: пленная черкешенка в Тамани! Повзрослела, вышла, может, за казака, жила, может, в Тамани до старости, а то и в Керчь перебралась, где-то упокоилась. Вот тут же по Сенявиной балке ходила, у хаты Царицыхи бывала. Она меня умиляет, я жалею её, слепой мальчик тоже слышал о ней, в станице-то той дворов чуть-чуть было.

— Сиротка... — пожалела вторая. — Никто о ней не написал и уже не напишет.

— Её крестил в Покровской церкви священник Дмитрий Лавров, слышите? И дьякон Игнат Щебуткин (пусть лермонтоведы зазубрят себе). Да был ещё Станицкий. Фигуры!

— Прасковья... Почему меня так не назвала мама?

— Я буду приезжать, стучаться к вам в потёмках и шёпотом звать: “Прасковья, откройте”..

— Будем вспоминать Прасковиёю в церкви.

— Но вы ещё не знаете самой главной загадки. Винца бы не мешало. Воон там на другой стороне огонёк... кто-то не спит. По-моему, туда я приходил в первый раз к старушке, она и сказала: был в церкви слепой звонарь, старик, говорили, что тот самый, из повести мальчик с узелком. Всегда буду жалеть, что не жил тогда рядом. Или хоть бы до войны. И вы бы со мной за звонарём ходили по дворам. И мы уж написали бы. Наворотили такого, хе-хе. А?

— Ну, ну... Дальше что?

— Вас бы тоже надо пленить и закрыть в Фанагорийской крепости. Почему вы оставили кувшин в хате? Нехорошие. “Ничего, ничего душа моя не просит, кроме взгляда твоего...” Даже мы забудем эту ночь, а чего уж ждать от кого-то... И Аише не запомнили. Как звали слепого? Звёзды знают, но они высоко. Я бываю словоохотлив. Мы с вами остановились в Сенявиной балке.

— Речечка, как ручеек. Дно по бокам заросло как.

— Прелестная дикость. Какие красивые раздвинутые стволы, овраг укрывается пышными верхушками. Пусть так будет ещё долго. Это завелось давно. Зелёная старина, так же? Молчите. Утомил.

— Аише... — подсказала первая.

— Ах, да, Аише... И никто не скажет, какой она была и когда её не стало... Я перерыл много папок, надеялся, жадно хотел, чтобы о ней писалось ещё и ещё, чтобы её допрашивали, раскручивали её пленение. Может, не повезло, а она лежит в бумагах. Так вот, дорогие, милые, но чужие, не мои, и не бойтесь, я соблазнять вас не стану, хотя вы достойны пленения, подобно Аише, но я только поиграюсь, и никто не заметит, и никто, в какой раз повторяю, не запомнит, что тут было.

— Уже и я захотела нацедить из кувшинчика... — сказала вторая. — Не тяните.

— Аише захватили в море, под Таманью, плыла она на контрабандном судне, доставили в Тамань на шхуне. Вот вам сюжет. Слепой мальчик с узелком, какие-то контрабандисты, зачем-то дитя Аише на судёнышке, что, как, почему — тайна навеки. Вот чего не знали Лермонтов с Печоринным.

Как хорошо, почти ласково звучит в докладной генерал-адъютанту Будбергу: “...черкешенки Прасковой”.

— Напишите роман.

— Зачем сочинять занятные глупости? “Тамань” Лермонтова — одна выдумка. Кроме слепого.

— Аише! Вот это сказка, — сказала первая.

— Вот это ночь... — вторила распевом вторая. — Чудо какое-то.

— Запомним. Я ещё не сказал: имела при себе черкешенка Аише тринадцать рублей тридцать две копейки серебром... “собственных своих денег”, и отправляли её в Новочеркасск (как и многих пленных черкес), деньги посланы туда же, но потом её почему-то вернули назад в Тамань и тоже отправились за ней (кроме двадцати восьми копеек, вычет за пересылку), и поразительно, какие чины занимались, что залобуешься. Генерал-адъютант Будберг предписал какому-то высокоблагородию проследить и донести ему, как препровождаются эти тринадцать рублей и четыре копейки серебром и... и “покорнейше прошу передать эти деньги воспитательно черкешенки Прасковой... для хранения как собственность его воспитанницы”. А в конце подпись: “Генерального штаба... такой-то”. Раньше расписывались так.

— И кто бы это предсказал, — вступилась вторая, “музейная” сестрёнка, — что через полтора века будут эту Аише вспоминать в Тамани ночью...

— И какой-то обычный писатель из Пересыпи (где, кстати, матушка моя уже не спит), поболтав о черкешенке, поцелует ручки сестрёнок, подозрительно похожих на Аише, и попросит их не забывать его и приглашать в сумерки в хату Царицыхи на бокальчик смугло-красного винца.

— Ох, ох, ох... — согласно пропела первая. — Только обрадуют.

— Я Пушкина позову на помощь: “Одну тебя в неверном вижу сне”. Как заболтался я, не находите?

— А ведь это вы один... — робко сказала первая сестрёнка, подошла и коснулась рукой моего плеча. — Никто больше...

— Что?

Она молчала, как-то грустно улыбалась.

— Что затаили от меня?

— Да думаю: сколько тут народу прошло... через Тамань-то. А вы один водите за собой слепого мальчика, звонаря. В старой церкви он мог звонить, в старой или Воскресенской? Может, он и лежит в сквере, хоронили вокруг храма, лежит бедненький, затапанный, где спортплощадка.

— Может, и лежит, — сказал я.

— Вы один... А ещё Аише...

Она догадалась верно. На улице Холодной и на той близкой к роскошам улице, что зову я про себя улицей преподобного Никона, что взбирается в сторону Лысой горы, в Сенявиной балке, у кручи, где, наверное, и стояла хата Царицыхи, и у воды с пахучей сухой травой (камкой), и на пустыре бывшей Фанагорийской крепости, и у Боровиковских колодезев не пропускаю я мгновений, чтобы представить, как слепой мальчик, он же слепой звонарь в старости, мелькал здесь же, кем-то жалеемый, кем-то обижаемый и никем не описанный хотя бы в домашней тетрадке, хотя бы в какой-то шнуровой книге, в чьей-то жалобе, в письме какой-нибудь казачки Рябушки. Нет его нигде. Истории он оказался не нужен. Кем была его матушка, где дневала и ночевала? Чьей он фамилии? Не упоминается слепой ни на одном листочке. Даже после повести Лермонтова не нашёлся какой-нибудь Остроумов и не записал. Только один Кравцов оставил о слепом страничку, но после того, как я напечатал её в “Тайне хаты Царицыхи”, никто, ни один учитель истории, ни один краевед, участник ли лермонтовских дней, артист ли не воскресил на минутку этих слов о нём. Люди легко живут без легенд.

И было в то утро ещё часовое мгновение, когда наша несвятая троица, отстояв у места бывшей моей любимой хатки на курьих ножках, у самой воды, тихо переступая мелкими шагками, чуть вверх вдоль Сенявиной балки, всё-так же невинно резвясь любовью друг к другу, подошла к крайнему дворику и нечаянно голосами и смехом разбудила хозяйку, всё ту же Надежду,

которой я вчера в какой раз обещал привезти свою “Тайну хаты Царицыхи”. Она улыбалась и обрадовалась, и молча раскрыла дверцу ворот.

— Вы на зорьке какое вино любите, белое или красное? — пошутила. — Про вас я знаю, — быстро провела рукой в мою сторону и съязвила, — вам дамы наливают белое...

— Византийское, — подсоединилась первая сестрёнка.

— Я как раз не о выпивке мечтаю. Иду с прекрасными сестрёнками, которые боятся признаться, что любят меня, и думаю в какой раз: не в Сенявиной ли балке, возле вас или чуть подальше, и жил этот слепой звонарь в старости (ну, лермонтовский мальчик). Я бы и сам хотел здесь жить в убогой хатёнке. Уже говорил вам об этом. Сидел бы у куриного окошка и подглядывал, когда хвастливо, любуясь собой, пройдёт порою мимо, вдоль рва, то одна, то другая сестрёнка.

— Да уж!

— О-о-о, умираю.

— А я пою им вслед. “Ничего, ничего душа моя не про-о сит, кроме...” Ну, заболтался совсем. Так можно и сватов заслать.

— Да заходите, что ли, — приказом позвала Надежда. — Спать уже поздно, давайте гулять.

— Мне уже кажется, что нас всю ночь водит слепой мальчик, — сказала первая, по-свойски прикоснулась к моему локтю и направила меня в ворота.

— С таким провожатым, — сказала Надежда, — и без всякого слепого легко заблудиться.

Стало совсем весело. И мы в каменистом дворике присели к столику под чистой клеёнкой и подождали немножко, пока хозяйшка Надежда доставала из погреба трёхлитровый тёмно-красный баллон.

— А вы мне надоедали, и я не забывала... Я про звонаря спрашивала у всех. В мальчиках его звали Яшка. А семья их писалась Рябушка. Вот и ищите.

— Искать бесполезно, время прошло. Он и без того ходит со мной по станице. И даже подобрал мне двух ундин — казачек и черкешенок сразу.

— Слепой, слепой, а выбрал правильно.

Надежда обглядела нас всех добрым взором и налила во второй раз опять полный стакан.

— Благодарю вас за то, о чём никто никогда знать не будет, — сказал я. — Я уже всё время повторяю одно и то же. Может, в этом дворике и пела какая-то гречанка: “Ничего, ничего душа моя не просит, кроме взгляда, кроме взгляда твоего...” Я с ночи твержу сестрёнкам что-то такое обманчивое, как повесть Лермонтова, а сейчас, после такого угощения, пробормочу и вам, Надежда, две строчки. Пока не выпорхнули. Вы знаете, что самые музыкальные слова не восстановишь и через минуту, если не произнесёшь их? С огорода Вашего можно взлезть наверх, я помню проволочные воротца, и увидеть Керчь. Сколько там нечаянных чувств закрадывается, невинных, таких лёгких, летящих, временно прекрасных, хоть порою и грешных (из-за женщин). Вы, сестрёнки, не слушайте меня, а то улетите в облака и не вернётесь. А? А вам, Надежда, скажу, что если будете так угощать, то я возьму себе всю Сенявину балку. Извините. Это не только вино. Я нынче так легко заболтался. Такого со мной ещё не было. Простите. Почему-то в Тамани всегда душа моя взлетает повыше. Хочется долго жить и скрытно плакать по тем, кого нет. Сестрёнки, черкешенки, где вы? Ваши глазки уже дремлют, — сказал я сестрёнкам, — им бы на ночь, как и иному цветку, закрываться, а они на ров в Сенявиной балке зачем-то смотрели. Да? Простите. Я захмелел от вина, от древности и от двух черкешенок, приносящихся казачками. Шучу. Спасибо, дорогие, за ночь. По хатам!

Но я не повернул к своей хате, поцеловал сестрёнок и обогнул усадьбу, поднялся к раскопкам, выпрямился на круче перед далёкой, потушившей огни Керчью.

Ещё одно утро рассветало вокруг. Я как-то особенно чувствовал, что остался один. Проснулась ли в Пересыпи моя матушка? Я посплю в пристройке подальше и уеду к вечеру. Ещё есть во дворе живая душа, я подойду

к воротам, увижу, что кухня открыта, на колодце ведро, с огорода бежит собака. А вот и мать моя покажется. Сколько ещё так будем вместе?

Кто бы мог ожидать, что через три года рухнет наша держава, и с кручи я буду глядеть на керченский берег как на чужой...

## ПОЕЗДКИ В МОСКВУ

“Дорогая мама, начался съезд писателей. Сегодня заседаем в Кремле. Я сразу же взял билет на поезд. Выеду 18 декабря до Керчи, 19-го утром (часов в 11) буду на станции, переплыву пролив и часам к двум, трём из порта Кавказ приеду к тебе”.

Все свободные (после учительства) годы я так любил ездить в Москву и ни разу не околел от безумной мысли, что это привычное лакомое удовольствие оборвётся в один миг и однажды я до слёз расстроюсь, глядя с бывшей Манежной площади на разоряемую гостиницу “Москва”. В двух гостиницах, в “Москве” и в “России”, почивала моя гостевая судьба. Не понять хищным разорителям, какую частицу жизни провинциалов они уничтожили. Там наши временные радости, ощущения первых столичных часов, наше привыкание к чему-то сугубо московскому, почти заграничному, там голоса в телефонных трубках наших друзей, знакомых и редакторов, там с высоких этажей мы глядели на утренний, ночной, летний, зимний Кремль и чувствовали неприступную власть, заключённую стенами и башнями, в записных книжках закрепились этажи и цифры номеров, и, о, сколько застолий может вспомнить каждый писатель... Само приближение к столице вечером или на рассвете, долгое вытягивание поезда по дачным окраинам, первое мелькание пригородных остановок, московских фигурок на платформах, мысли о скорых встречах и приятных событиях приготавливали провинциала как будто к чему-то более важному, чем то, что исчезло вместе с вёрстами. Кого-то встречает родня, а ты один, друзей пожалел и будешь ждать открытия метро, поневоле следить, как моют полы, считают и раскладывают газеты (о, как рано кто-то в столице встаёт с постели), а внизу в короткие перерывы отдыхают в камерах хранения какие-то странные, тоже бессонные москвичи. Тонкое чувство, что ты уже не дома и не в вагоне, и навсегда ушли в небытие твои попутчики, только что пеленавшие твоё самочувствие и уже ненужные, держит тебя до того часа, когда ты проникнешь в гостиницу, примешь ордер, поднимешься в лифте, в середине коридора возьмёшь ключ у дежурной, вступишься в двухместный номер, выберешь себе кровать и подумаешь, что друг появится из Сибири попозже. Москвичи-писатели затолкались в тесноте клубов и издательств, приелись друг другу, а мы, разбросанные по разным концам русской земли, соскучились и съезжаемся наговориться, посекретничать, а то и пожаловаться на притеснения местных властей. Если бы можно было опять пережить то же самое...

Замечаю, как утесняется гостиница писателями. Один за другим сообщают свои этажи и номера комнат, выходят перекусить на угол в буфет и заживаются на радость в беседах, а потом ещё будут сходить в номера знаменитые и простые письменники. Вон уже гогочут возле Астафьева, вон кругло басит дородный Евгений Иванович Носов, с ним рядом Петя Сальников, матушка которого живёт в той деревне, где Тургенев обрёл типов к рассказу “Певцы” (и Петя всё зовёт меня туда), вон Потанин из Кургана и Колыхалов из Томска ещё издали показывают всем видом, что будут сейчас меня обнимать, вот уже и высокий красавец Глеб Горьшин спрашивает, не приехал ли Распутин, а чуть погода табором являются вологжане — Белов, Романов, Коротаев, Фокина, Чухин и кто-то ещё да тут же несут на столик сосиски и пиво туляки, калужцы, псковичи, мои новосибирцы, и протекут за час, полтора знакомые кавказцы, казахи, узбеки, татары и все, все, все, кого уже не повидать мне в Москве никогда.

Может, кто-то опишет (или уже описал) нашу дружескую толчею в Домах литераторов, в коридорах Кремля и Дома Союзов, прощальные банкеты, может, и я сам ещё обернусь назад и с прощанием загляну в наши гостевые московские углы, похожу по знакомым квартирам стариков-писателей,

приласкавших меня когда-то так нечаянно, подожду на станциях в метро гудящие составы, проедусь только мне известными маршрутами, зайду в книжные магазины на Арбате, на улице Качалова и Веснина, куплю французские книги (очень недорогие и, главное, прямо из Парижа), поью чайку в издательствах “Молодая гвардия” и “Советская Россия”, потоскую по древностям в палатах бояр Романовых, полистаю старые московские и петербургские газеты в Историческом архиве, как мимо загадочных египетских гробниц пройду много раз возле Большого и Малого театров, прочитаю мельком названия спектаклей, взберусь к первопечатнику Ивану Фёдорову и тут же куплю в Книжной лавке редкие три тома писем Гоголя, сяду на дешёвый троллейбус и долго буду ехать куда-то на край столицы, всё удивляясь выносливости московского люда, заверну на улице Кирова (бывшая Мясницкая) в чайный магазин, накуплю конфет, каких нету в продаже в южном моём городе, каким-нибудь вечером побываю на закрытом просмотре итальянского фильма, провожу друга на Ленинградском вокзале к поезду и потоскую по “императорскому городу”, в котором бывал я так мало, куда часто-часто звали меня Глеб Горышин и Глеб Горбовский.

Обычно меня провожали с Казанского вокзала, а иногда, если я настроился прибыть сперва к матери через Керчь, с Курского. Это тоже целая повесть: кто и когда подтаскивал мои тяжёлые сумки с книгами, приходил к вагону с подарком в дорогу. В советские годы поезда мои тянулись в южную сторону по рязанской, воронежской ветке, потом некоторые переправили по рельсам через Тулу, Орёл, Харьков, и я любил иногда устремиться на Керчь, и оттуда переплывать на пароме через пролив на кубанский берег (чуть вкось от Тамани), торопиться на машине мимо станций Запорожской и Фонталовской в Пересышь к матери. Не казалось тогда роскошью то, что я свободно проезжаю Украину, в Керчи на границе не придирались таможенники. (О Боже, даже судорожно писать о том скверном расколе, который сотворили нелюди). Помню особенно ясно (и теперь особенно горько) моё возвращение через Керчь за пять лет до проклятого переворота. Ехал в купе один и вволю курил. В тот месяц я две недели обитал в гостинице “Центральной” (бывшей “Астории”), черкал напоследок рукопись романа “Наш маленький Париж”, что-то сокращал, подклеивал кусочки. Никогда не проводил в Москве время так туземно, неторопливо, выходил только в бывший Елисейевский магазин да раза два в гости в Лаврушинский переулок, а перед отъездом побывал в музее-квартире Аполлинария Васнецова, преклонил там душу к кондовой матушке-Москве. Грустным пришёл я вечером к другу “в Лаврушку”. С ним пировал я в Коктебеле каждую весну.

— Я читал, — говорю ему плаксиво, — письмо Васнецова о храме Христа Спасителя. Как он умолял не трогать его! И какая русская квартира. Такая тихая, тихая Русь в ней. Неужели это было? — думаешь. Зачем это исчезло? С фотографий смотрят другие русские люди. Мы их уже не чувствуем. Я и умилялся, и страдал.

— Да! — со вздохом соглашался Олег Николаевич. — Русского в нас всё меньше. А зайди в бывшие палаты бояр Романовых.

— Уже был. В Зарядье, тоже бывшем.

— Мы все стали бывшими русскими. И не тужим. Да что там! Мы уже и не чувствуем давнего родства. И не нуждаемся. Живём, коптим в интернационализме.

— Я сколько лет приезжаю, а у Васнецовых не был. И в палатах. Рядом с гостиницей. Туда-назад ходишь, а всё некогда вроде. А зашёл недавно и... словно умер там: ветхая забытая жизнь.

— Из этих палат, — как-то горестно возвышаясь родным чувством, вставая с кресла и удаляясь взглядом в вековую пустоту, растянуто говорил мой умный друг, — из этих палат, даже таких искажённых, какими они достались нам, выходишь виноватым, каким-то сторбленным. Вот была Русь, Иван Грозный, Алексей Михайлович, ещё и ещё (то раньше, то позже), они “поживе и умре”, некоторые древние князья и монахи в “книге глаголемой”, как-то прочёл: “житие и страдания” напечатаны в “Степенной книге”,

нам бы так писать (с тихим трепетом, с каким-то покорным поклоном вечности), “положен быть в Печерском монастыре”, “заточен в Чудов монастырь”, “брада аки Иоанна Богослова”, “прожил всю жизнь в болезни и чудесно пострижен ангелами”, читать такое хочется подольше, перед сном. Близкого к ним чувства у нас нет уже. Тихо выходишь из палат. Кротостью, даже обидою осеяются оставленные в века на чужое смотрение все предметы в горенках, светёлках, и это обыденно и просто отвергнуто той улицей, по которой ты пойдёшь к себе домой. Только что была Русь, вышел на улицу под то же небо — и нет её! Небо одинаково и вечно.

— Ты редко говоришь так.

— Я люблю Москву, всё чаще дородную. Покупаю в магазине молоко, нет-нет да и скажу громко: “А у Чичкина при царе молоко было со сливками!” Все молчат. Не знают.

— У нас в бывшем Екатеринодаре не знают, что жирный поджаренный гусачок стоил одну копейку; да к нему подавали на Старом базаре в трактире Баграта рюмочку водки, совсем не дорожке. “Кушай, к чёртовой матери!” — приглашал шумный Баграт.

— Ах! — вздрагивал и оживлялся Олег Николаевич. — Неплохо бы сейчас завалиться к Баграту в трактир, попросить гусачка, да как далеко уже от нас и Екатеринодар, и Баграт, и... Таких уж гусачков у вас там, поди, нету.

— Для вашего сиятельства найдём, поджарим, нового Баграта вытщим, рюмочку подставим.

— Ах, хорошо-то было бы! А потом у господина летописца в канасту играем! В Москве тоже есть сыр хитрой лисичке. Я тебе разве не рассказывал, как ещё молодыми мы с Васей Аксёновым проезжали мимо Кремля, и я толкнул его в бок: “Посмотри, как красив Кремль на закате”. А он вдруг резко так вздулся: “Неужели тебе может нравиться Кремль?” Наверно, имел в виду одно: там жил и правил “кровавый Сталин”.

— После Москвы уткнусь в тишине в книжки. Юрий Казаков давал мне “Дар” Набокова на несколько ночей, прочитал. Бориса Зайцева ты мне дашь в следующий приезд. Ещё хотел бы я полежать с книгой Зинаиды Шаховской “Отражения”, но её даже у тебя нет. “Комментарии” Георгия Адамовича почта заматала. Трёхтомник Романа Гуля “Я унёс с собой Россию” мне не видать. А лучше бы всего пойти в Ленинскую библиотеку и спросить, так где же в фонде Николая Фёдорова запрятались черновики лермонтовской “Тамани”. Фёдоров показывал их Толстому. Знаешь?

— Вот и останься. Я тебя познакомлю с княгиней Мещерской. Она жива и говорит, что её отец приязнствовал с Лермонтовым. Подсчитаем по пальцам, как это могло быть, когда он родился сам и в каком возрасте родил дочь. А потом закажем жирного гусачка и смирновской водочки! А! Мой милый! В моём “Державине” господа часто восклицают: “Почаще бы встречаться и рассуждать!” Не уезжай, живи у меня.

— Уже дал я матушке телеграмму: “Еду через Керчь”. Сколько на часах? Уже она спит, ложилаась, говорила себе: “Послезавтра Витя приедет. Надо в Темрюк съездить, мяса купить. Он любит котлетки с пюре”. Помнишь, какая она?

— Ещё бы! Каким чудным вином угощала. А её пирожки... Привозил в Коктебель. И даже редиску. Но два баллона вина — это... симфония!

— Господь Бог подарил мне Пересышь. Не сразу это понял. За огородом часто цапля сидит. Дальше колхозный пруд, а за ним Ахтанизовский лиман. Всё древнее. “Озеро Агдениз соединяется реками и болотами с Кубанью и Азовским морем и делает через это Тамань островом”. Кругом была вода, всё в островах. Тмутараканское княжество дотягивалось, вероятно, и до нашей Пересыши. Приезжай. Уж в погреб спустится точно. На песочке ракушечном полежишь.

— А мою Тишинку угробили. Деревянные домишки с голубьями, булочная, рынок. Ничего нет. Дом цел. Там ещё в нашей комнате висит тайной паутиной мелодия гимна “Боже, царя храни”, которую мама испуганно играла, закрыв шторы!



Меня с детства отдаляли люди из той среды, которая была не сродни нашей озёрской, простонародной, с коровами и курами во дворах, стогами сена в огороде, отдаляли не богатством каким-то, не чем-то другим житейским, а тем, что в их семьях музицировали, пели романсы и арии из опер, мужчины и женщины, старые и молодые, вкрапывали в разговоры строчки стихов, называли много каких-то почётных, а то и знаменитых имён, никто меня не отталкивал, не презирал, но я сам казался себе попроще, чуть ли не дурней и темней, стеснялся себя. Таким же притихшим, незаметно обиженным слушал я в начале знакомства рассказы Олега Николаевича о родне, — ого, какие все породистые, тонкие, благородно воспитанные, с какими удачными русскими биографиями. Бабушка по матери из графского рода, отец Георгиевский кавалер, а его отец белый офицер, другая бабушка пела в Тифлисской опере, сводная сестра Ольга Воронец покорила голосом всех, сам же он не раз обедал с дочерью Куприна Ксенией, получал письма из Парижа от вдовы Бунина и с Твардовским готовил собрание сочинений Бунина (но ленится, баловник, записать блестящую речь Трифеньга на редколлегии в день выхода последнего девятого тома). Я и правда долго удивлялся тому, что Олег Николаевич скучает по мне, приглашает домой, хвалит мои рассказы, любит в Коктебеле гулять со мной по вечерней набережной.

— Перебирался бы ты, братец, поближе, — не раз заманивал он меня. — Куда-нибудь в Подмосковье, забрал бы из Сибири матушку и... встречались бы, рас-суж-дали.

— Боюсь, — отпирался я. — Москва мне хороша на минутку. Не выдержу. Толпы. Расстояния. Даже обилие знаменитостей давит. Нет. А матушку вызову только на юг.

И вот к матери на юг уезжал я порою через Керчь.

— Да здравствует Курский вокзал, — вставал я прощаться, — 89-й поезд, вагон 8-й, место 12-е. Меня ждут проводницы, таксисты, паромщики. В Керченском проливе — чайки. С горы Митридата в ясную погоду можно увидеть Тамань. Катер четыре раза в день, на палубе девчонки, татары с корзинами помидор, чайки долго летят за нами, смотришь на запад, там недалеко Феодосия, Ялта. Кому нужна ваша Москва?

Если бы ещё так же расставаться “до встречи” с другом, если бы как-то ещё купить билет “Москва—Керчь”, глядеть на собранные вещи у порога, томиться в оставшиеся пустые часы.

— Вот и пора!

Вышел, Москва вмиг какая-то стала дорожная, уже замаячила далёкая домашняя жизнь. Тебя, нездешнего, случайного безропотно отпускают окна, подъезды, этажи, улица Горького с мемориальными досками на стенах, зубчатые узоры Кремля. Всё живёт, суетится и будет жить так же, как до твоего мелькания. Не жалеют о твоём убывании дежурная, принимая ключи, и милиционер внизу у двери, букинисты в магазине на улице Качалова уже позабыли, в какой шапке писатель забрал у них “Милый друг” Мопассана на французском языке (дореволюционного издания). Ты проезжий, не москвич, на Стромьнке, в Марьиной ли роще, у Калужской заставы или на Воробьёвых горах у тебя нет прошлого, нету следов отца-матери и родни. Казанский и Курский вокзалы — кровные тонкие приметы твоего странствующего бытия. Но и есть что-то странное в том, что ты опять в вагоне и час от часу возвращаешься к станциям, которые напоминают тебе о том, каким ты ехал недавно к столице, приближался и не знал, кого повстречаешь и какие впечатления добудешь. Уже потекли мимо поля и берёзовые рощицы, задрознили белые кривые дорожки в деревни, подступили к окнам тишина просторов, само долгое время, неписаная судьба проезжей земли. В Москве дальняя провинция позабылась. В поезде я не люблю спать, что-нибудь читаю, заполняю быстрыми строчками блокнот да гляжу в окно. Поезд тянется вдоль горизонта, бежит и бежит без остановок, бесконечные окрестности убаюкивают тебя своим молчанием, и ты потихоньку вникаешь душой в заветную Россию, и в ту, какую описывали классики, историки и какую ты сам заметил за годы длинных путешествий. “Ту-у!” — кричали ещё те старые паровозы ФД и ИС и куда-то везли тебя, везли и везли. В вагонах

скопилось за полвека немало дней и месяцев моей жизни и — о, Господи! — о ком только и о чём я не думал, что не переживал! В какую повесть это включить, чем связать и где набраться слов, мелодии, сострадания самому себе, чтобы выразить тонко и похоже? 89-й скорый шёл до Феодосии, а в Керчи отцепился мой 9-й вагон. В Джанкое менялся паровоз. Ту последнюю поездку через Крым я помню до сего дня. Жалею, что не записал её подробно, до рассычатых мелочей, бисеринок. Даже о 9-м вагоне думаю пристрастно, впустую гадаю о его “железнодорожной” судьбе: загнали его сперва на запасной путь, вытянули потом куда-то, разобрали мебель, распилили на металлолом? В том вагоне зацепилась моя суточная доля, я всех вспоминал, что-то поначалу договаривал Олегу Николаевичу... В Москве писал, помню, весёлое письмо в Утятку, раньше меня покинувшему гостиницу “Москва” другу, воображал, как переплыву пролив и выпью на радостях домашнего винца. (Если бы и это вернулось хоть на одно мгновение...) Всякий день до переворота стал ещё драгоценней. Вот я нанимаю такси и мчусь за город к парому. Справа холодное серое море. Через шесть лет вырвут у русских екатерининский Крым, дожидаться прежней простоты передвижения по старой земле долго. С Керченской стороны завернуть в Пересыпь тяжелее. Да и к кому будешь ехать, торопиться по косе Чушке к Фанагории (Сенной), сворачивать на Темрюк и подгадывать к матушкиному борщу и пирожкам? Всё горько пройдёт и переменится. Вот потому я за письменным столом во дворе под орехом с радостью повторяю путешествие в 9-м вагоне, плыву на пароме в зимний декабрьский полдень, думаю о Боспорском царстве (где-то в этих водах и на смутно чернеющих берегах) и ступаю с чемоданом в тёплую хату. Слышу распевный голос соседки (уроженки Тамани), изредка забредающей потосковать по своей молодости, любительнице старинных песен: “Надену я платье, к милому пойду, а месяц подкажет дорожку к нему”. Прохожу, свежо обзираю комнату с четырьмя окошками. Книжки покорно ожидают меня и на тумбочке, и в шкафу. Второй том романа “Война и мир” (изящный такой, с приятным шрифтом) всегда светится корочкой на стеклянной полке у окошка. Я купил его на том же Курском вокзале (с правой стороны площади), первого у киоскёрши не было, я часто за дорогу раскрывал роман на любой странице и читал, как в первый раз. Вот отрываюсь от амбарной книги, встаю и в хате вынимаю из шкафа сей дорогой том и на загнутых листах пробегаю по строчкам. “Уже смеркалось, когда князь Андрей и Пьер подъехали к главному подъезду лысогорского дома”. “Зимой в Лысые Горы приезжал князь Андрей, был весел, кроток и нежен, каким его давно не видала княжна Марья”. “В начале зимы князь Николай Андреич Болконский с дочерью приехали в Москву...”, “Граф Илья Андреич повёз своих девиц к графине Безуховой...”. Сразу озаряется те пропавшие дни, и книга тем дороже, что она упокоилась в нашей хате ещё... при матери. Я забываюсь с ней, в огороде мёртво лежат лопата и грабли, я отлучился на минутку, но протечёт не меньше часа, пока я перестану любить текст Толстого, снова следить за героями и желать заглянуть как-нибудь поскорее в Ясную Поляну и похожие на неё усадьбы, давно уже разорённые.

В скупом блокноте ещё не выщела запись: “Паром еле движется. Декабрь. Какая тишина, какая вечность над водой и в небе! Плыву, озираюсь вокруг, сознаю своё счастье: Крым, Тамань, рядом Пересыпь, а в пересыпской хате матушка! И Керчь моя, и пролив мой, и берег с косою Чушкой... Господи, храни нас”.

В такие мгновения всех и всё вспомнишь. Москва, ах, где ты? Укрылась она опять вдалеке, в отдельном своём миллионном чреве, а тут на скифских просторах никого и не видно: разостланная вода, за водою наискосок неясная Тамань, впереди берег кубанский, вроде безжизненный. Плыв я к берегу и не ожидал, на какую скорбь суждено мне сюда являться. Хоть бы вздрогнул: кто разбудит меня на заре к автобусу? Кто тихонько притронется рукой к плечу и скажет: “Вставай уже...”? На спинке стула чистая поглаженная рубашка, в широкий портфель матушка уложила с полсотни яиц, в сумку поместила две банки с вареньем, обложила твёрдым вяленым судаком. Матушка моя неутомимая! Всегда меня так провожала. А я грустил

и был виноватым. “Да не кури! Ну, что ты себя гробишь!” — строжилась она. Я шёл в сад (зимой жалобно-голый, летом тесно-заросший, нежный), и всё там укоряло, спрашивало меня: зачем уезжаешь, оставляешь мать одну? На душе у неё станет пусто, в огороде лишь ёжик перебежит грядку да птичка с ветки сорвётся: нигде нету сына. В кухоньке, где я много писал, и в хате с моей постелью всё тоже приготовилось к сочувствию матери. С востока, с темрюкской стороны, вставало солнце, к полудню оно повиснет над Ахтанизовским лиманом уже без меня. Далек в городе буду я выгадывать возможность поприсутствовать во дворе. И то надолго, то на день-два вырвусь из компании писателей, артистов, краеведов и заверну в Пересыпь из Анапы, Темрюка, Тамани, но с керченской стороны больше не покажусь.

## ВДВОЁМ

С дальнего конца нашей улицы приходила два раза в день, иногда возле матери ночевала Фаина, но больше со мной по целым суткам никого не было. Домашние мои появлялись из Краснодара редко и ненадолго. Настя привозила Илюшу. Как-то они чересчур торопливо расставались со мной.

Я стоял за воротами каким-то брошенным. Помню, когда машина тронулась, я попрощался кистью руки так же обиженно, как пять—десять лет назад прощалась со мной матушка у этих же ворот. Пришли, видно, и мои сроки. Уже за мостом станет обрываться мой образ, выпустится в просторы сочувствие, а в городе за хлопотами потеряют меня вовсе. Я старательно запер воротца и, повернувшись, мигом увидел приунывший угол и Белку, грустно положившую голову у порога. Мы опять одни. В хате лежала матушка, побросала на пол халат, тряпочки; пора было переменить бельё и протереть её спиртом. “Уехали, мам...” — сказал я. Она вроде не поняла и не ответила. Полмесяца кто-то из своих жил за окном, к ней заходили, но уже близости к нашему существованию у неё не было, она сомкнулась со своей болезнью, немощью, с одром увядания. Какой настал месяц, она не спрашивала. И неласково смотрела, но один раз, когда я кормил её, потревожилась: “А ты сам ел?” Я спал в её узенькой комнате, ночью вставал проверить, спит ли она. Утром она терпеливо ждала меня, я её переключивал в сухое и обещал поскорей покормить.

Думал ли я, что так будет? Светило на закате сквозь виноградные листья солнце, гнали коров по улице с пастбища, я шёл за молоком к Клаве, ставил, как и матушка бывало, бидончик на стол в кухоньке и ждал Настю с рыбалки. Ничего уже не касалось матери в том мире, который серо светился на зорьке, заливал в полдень огород и двор блеском, затихал в сумерках. Страшно подумать, что в какой-то день всех ждёт то же. Уже никто не поможет жить по-прежнему, и даже самые сердобольные мысленно отдают тебя Богу.

## ЗАТЕРЯВШИЙСЯ ЛИСТОЧЕК

“Господь наш Иисус Христос, божественною своею благодатию, даром же и властью, данною святым ученикам и апостолам, во еже вязати и решити грехи человеков, рек им: приимите духа святого, их же отпустите грехи, отпустятся им, их же удержите, удержатся и елика аще свяжете и разрешите на земли, будет связана и разрешена и на небеси...”

Ну что, Юр... Не помню, отсылал тебе письмо или нет. Часто разговариваю с тобой, и мне кажется, что строчки свои отправлял в конверте... Поэдем в Новосибирек?

Матушка моя умерла 8 марта. Похоронил её в Тамани.

Отметил 40 дней. Сижу один. Все ушли. Скоро спать, но я налил в бокал вина, которое осталось в графине от поминок. Описать, как я выходил во двор, глядел на яркий месяц и прочее, невозможно.

Матери нет. Не услышу больше её голоса, не тронет матушка утром моё плечо, не скажет: “Вставай, а то не успеешь”...

Сразу всё переменялось во дворе. Всё вообще потекло назад. Опять Кривощёково, звон трамвая под горку, дом № 4 на Озёрной, и везде матушка... Наша святая детская послевоенная жизнь. Никто у нас не написал книгу о покинувших дом свой... Таких миллионы.

Вот. Думай, как нам поехать в Новосибирск. Лучше бы всего в августе, тогда и... (не дописано).

“Вот, мам, ночевать остаюсь в Тамани, нынче родительский день, а завтра после обеда отвезут меня в Пересыпь. Я выпил немножко, не отказывался, там подзовут, там попросят помянуть. Ходил меж крестов, и меня узнавали. С Харитонычем и Верой Ивановной постояли у тебя, они ушли к своим. День солнечный, тёплый. Тебя здесь не забудут, а если бы в Ахтанизовской лежать, то кто там подошёл бы? Я теперь чаще буду в Тамани. И крёстной же рассказал в письме, почему выбрал Тамань. Будем потом рядом. Церковь через дорогу. Мы в ней стояли с тобой на Пасху. У Насти Ваня родился в декабре. Илюшка растёт... Пойду..!”

В конце мая сидел в одиннадцать вечера в пустом грустном дворе, и... вдруг появляется кошка Машка, верная матушкина постоянница, такая медленная в движении, несчастная... Я прослезился...

...Прошли месяцы, я не писал ни строчки и жил так уныло, спокойно, будто литература моя была какой-то сказкой в какое-то далёкое время; всё кончилось. Ночами я не спал. Уже в окне белел рассвет, а я всё ворочался.

Ещё на одном листочке записано, что приехал я в Пересыпь в двенадцатом часу ночи. В городе провожал меня дождь, в поле только гремело вдаль. Ехал и думал, что матушки уже в хате нет. Вот и к станции в Темрюке приблизились, сколько раз так было, здесь и матушка порою стояла, выезжала из Пересыпи по надобности и поджидала ахтанизовский автобус. Не будет её больше на этой остановке. Вот слева Ахтанизовский лиман, чуть впереди маяк, с горы завидналась прибрежная белая дуга, вдаль ночное таинственное море, узкая дорога по низине, к мосту через гирло, к самой Пересыпи. Всегда глядел на силуэт посёлка и гадал, чем сейчас занимается матушка. Нету её там. И как это обыденно, тихо исчезает самое дорогое. Иду проулком к нашей улице Чапаева. Вспухла, закурчавилась зелень на деревьях. Месяц повис над лиманом. Мать уже не увидит его. Темны окна хаты, боязливо притих двор. От кухоньки не появится женская тень. Завтра увижу, как зарос огород. Открываю сперва не хату, а библиотеку. О, давно как будто ушёл отсюда, всё смиренно ждёт меня: книги на шкафу, кружка и кипятильник на печке, пишущая машинка у окна — душе дуновение, а матушки нет. И ночью, когда выхожу на минутку, утрата со мной. Так же выходил все месяцы, и за густым мраком окна лежала она живой, хоть и немощной, несчастной, а теперь в её комнате на постели только подушка. Утром меня никто не разбудит. Развидняется, пора вставать, я один. Иду на базар. Как-то гулял по берегу, зашёл потом в магазин, стал в очередь и сразу не заметил, что передо мной матушка. Улыбается. Теперь я ей рассказываю обо всём и от сиротливости чувствую себя ребёнком. “Ну, вот я и приехал, мам, кое-что посадил, потом надо будет прополоть. Без тебя во дворе уныло. Как один день пролетели двадцать пять лет. Так же, как и в первый день, светит луна на каменного солдата в скверике, молодёжь слоняется возле клуба, соседи твои проходят мимо, а ты уже... Не вынесешь из курятника яички в подоле, не скажешь с улыбкой: “Нонче четыре... И вчера шесть”.

Три месяца прошло. Бело стены в гостиной, постройку её начали при матери, помогал класть блоки священник о. Сергей, крышу постилали сами всей редакцией “Родной Кубани”, денег от гонорара за книгу чуток не хватило, выкроил из текущих заработков, одобрил мою затею побывавший у нас Василий Белов, но долго заваливали камнями и покрывали раствором пол, елозили стены, теперь я побелил их два раза. Белил, варил себе суп и думал постоянно о поездке в Сибирь. Улица Озёрная так по-родному являлась мне старыми годами, так звала к себе. Вот какой-то летний день, идут с пастбища коровы, матушка полощет ведро; сижу, наблюдаю, струйки сперва дзинькают по дну, а погода прорывают нарастающий пенный слой. Парное молочко!

В октябре приехал, только вошёл во двор — тотчас появилась кошка Машка. Вишня ещё не сбросила листья, орех голый. Огород сорный, некому убирать. И облепиха не сорвана. Моя пишущая машинка “мерседес” покрыта матушкиным платком, клавиши ждут моих пальцев. Каждый раз будут переживать одно и то же.

На полгода поехал я в Тамань. У Когтевых посидели тихонько, пообедали. У деревянного креста слова сами просились к матери: “Лежишь ты, мам, и не знаешь, в каком месте, кто тут жил издавна. И на кладбище много упокоено за двести лет. Родилась ты под Бутурлиновкой, приехала в Пересыпь из Сибири и не догадывалась, что к последнему приюту привезу я тебя в Тамань... А тут, если верить, проходил апостол Андрей Первозванный. Да преподобный Никон церковь поставил. В хорошем месте положил тебя. Я рядом буду... Кто-нибудь да помолится...”

А в ноябре я побывал в Кисловодске у казаков, молился в храме, трапезовал с митрополитом Гедеоном, а он раздавал открыточку с ликом своей скончавшейся матушки, досталась такая и мне. На обороте печатными буквами уведомлялось сие дарение: “Всем помнящим и почитающим мамочку мою — низкий поклон и сердечная благодарность, а ей, кроткой голубице, Царство небесное и вечный покой (Гедеон)”. Я положил поминальную карточку в пересыпский блокнот.

Митрополит Гедеон подарил мне на прощанье том древнерусских текстов. В автобусе я читал “Плач Дмитрия Донского”. Были такие времена на Руси, с воплем прощались, голосили у покойного одра, и вокруг все молчали и плакали: “Где, господине, честь и слава твои, где господство твое? ...Жизнь моя, како наמידуюся тебе, како повеселюся с тобою? Свете мой светлый, чему помрачился еси? На кого оставляешь меня и детей своих? Звери земные на ложе свое идут, а птицы небесные к гнездам своим летят, ты же, господине, от своего дому не красно отходиши...”

Я закрывал глаза, откидывался к изголовью кресла и долго так ехал, жалея и усопшую тьму русских людей, и родных, и матушку свою. Так причитали на Руси веками. Да что — я ещё застал такой обычай голосить. Когда принесли похоронку на отца, тридцатилетняя мать моя надрывалась в плаче весь день. “Ой, да ты моя Ванечка, на кого ж ты нас с сыночком оставил, как же мы без тебя будем, да уже не дождуся я тебя никогда, да никогда уже ты к нам в ворота не зайдё-ёшь, не обнимаешь своего сыночка и словечка ласкового не скажешь, ой, да зачем же эта война и горе такое, у-ууу, да как же мы будем жить без тебя, да у всех будут мужья и у детей отцы. А мы с сыночком заснём и проснёмся, а тебя у нас не будет...”

Так голосили во дворах по нашей Озёрной ещё и в ту пору, когда я уезжал на юг. А по матушке моей уже никто громко не плакал. Может, сестричка Галя покричала бы одна, но она болела и попрощаться не смогла. Была у меня в шкафу синяя книжка “Причитания”, но и она куда-то затерялась.

На столе моём берёт я развёрнутое письмо крёстной.

“Дорогая сестра, высылаю тебе платок, носи сразу, не жалея, жить мало осталось нам, не надо скузиться беречь. Галя”.

Так всё проходит.

## ПУСТО

Ночью сквозь сон чувствовал, что в комнате холодно, сердце чуть болит, вставать надо пораньше, но всё равно полежал в своей библиотеке. Приехал из Краснодара на неделю.

Так и матушка просыпалась и слушала тишину, и скучала душой, как далеко её сестра, не так уж рядом и сын, а соседи по улице в тесной семье.

Отдёрнул занавески на широких окнах, после сна всё такое снова родное: огород, двор. Печка ещё горячая. Из термоса налил в кружку шиповника. Пол буду мыть после завтрака. С огорода поглядел в сторону горы Бориса и Глеба. Цапля на одной ноге не поджидала меня у протоки. Не перестает тоненько биться чувство: один я на свете...

Наступает миг уезжать. Закрываю сарай, гостиную. Окна, двери сразу как-то сиротеют, взывают к хозяйке, которая теперь без них в Тамани. Опять будет пустовать в сумраке комнаты, лежать ненужными книги. Привык за неделю, всё опять стало родным, обогретым, в городе притухнет, потихоньку забуду. Каждая досточка смотрит на меня, провожает. Месяц-другой собака лишь пробежит по двору, больше никто не ступит. Соседка Таня выходит попрощаться, скажет: “Плохо без Андреевны”. Проулком, мимо большого куста шиповника иду вниз до бани, налево и в горку до остановки. Привык к этой тропе. Ещё на базаре за столами торгуют, из магазина несут хлеб. У автобусной остановки жду попутки; на горизонте выползают машины, растут, приближаются и чуждо проносятся мимо. Но всё равно какая-нибудь подберёт. Сколько раз так стоял! Столько же проезжал мост и глядел на устье гирла у моря, и вспоминал там себя, вчерашнего, и чаек, ронявших перья. И вот уезжаю, всё будет жить без меня, не жалеть обо мне, не томиться, жить как тысячу лет.

“Не будет у меня здесь жизни... — струилось во мне прощание. — Кончилось. Уеду-приеду, и дух родной выветрится”.

### ЕЩЁ О ТОМ ЖЕ

Приехал и целый день лежал на материнной кровати, горевал даже во сне, так бы лежал не знаю сколько, но за месяц огород бешено зарос сорняком, и я утром поднялся, открыл сарай, выбрал тяпку потяжелее. За огородом камыш стеной закрывал всю даль до Ахтанизовского лимана. Огород наш очень большой, но матушка успевала и посадить, и убрать. Нижних воротец не видно, так раскинулся упрямый лопух. Да и воротец уже не надо, пересыпцы устроили за огородом писателя свалку. Хорошие люди пересыпцы. Им тяжело донести мусор до кучки, они облегчают руки не доходя: сбрасывают мусор прямо под нашим забором. Нету никого в хате, можно не оглядываться. Сосед в заборе прорубил ход, таскает зимой мусор через наш огород, выпускает кур, а когда я приезжаю, старается не мелькать передо мной подольше. Топчусь на низу и бесполезно отсылаю свои мысли матушке в Тамань. Так же она не раз беседовала со мной издалека. В этом месте, где нынче лопух, застал я её как-то с тляпчочкой в непереносимом одиночестве, за работой, которую можно бы и пропустить, и застал я её неловко: привёз с собой весёлую шумную гурьбу знакомых угостить винцом “изабелла” из погреба. Всегда скорбно и виновато гляжу на это место. Уже, кажется, каюсь в какой-то главе, повторяюсь. Да ведь и то сказать: одно и то же переживается нами по многу раз.

### ПО СТАРОЙ ДОРОГЕ

Долго я колебался: ехать — не ехать в Сибирь? И когда? Если осенью, то надо успеть к полугодню материной кончины, приготовиться, подумать, где в Тамани собраться, кого позвать.

День отъезда — как прощание навсегда. Напоследок тяжело и больно ещё раз оглядывать двор, задёргивать на окнах занавески, стаскивать в хату стулья, в сарай — вёдра, инвентарь и всё такое, что разумно прибрать от случайных захожих, и оглянуться с угла улицы на всю усадьбу, пожалеть её.

На мосту через протоку и до самого маяка ещё я буду пересыпский, а потом, отдаляясь, стану забываться, терять своё чувство вины пред хатой и всей жизнью, которая мелькнула во дворе с матерью, буду въезжать в тесный город, обывать в квартире, вынимать из почтового ящика письма, квитанции и газеты, вечерами читать что-нибудь и порою проникать туда, где горюет хата. Всё там на месте, а меня нет. Пусто по всем углам. Там некому со двора следить, как растёт месяц. А в саду упавшая груша долго будет лежать неподобранной.

В августе пустился я в дальнюю дорогу. “Поехал в Сибирь, — докладывал я всем подряд. В Новосибирск и в Топки известия о числах отправились в конвертах раньше.

Всё подлаживалось к моему настрою. Уже на вокзале в последние минуты ожидания стояла рядом со мной землячка, балерина из Оперного театра, смущавшая меня своей красотой. Никогда бы не посмел затронуть её. “Зачем она приезжала? — погадал я мгновение. — К тётушке, которая её провожает и громко хвалит Анапу?” Балерина. У нас таких неземных женщин нет. Как переминает ножками. И даже не взглянет. Зачем ей кто-то.... Театр был недавно в Пекине. А может, и в Харбине. Вот бы и мне с ними в Харбин! Но куда уж!.. Тебе, братец, писать про Кривощёково да мечтать об Остячке: как бы кого-то встретить из тех чадонок. Но заходить в вагон вслед за балериной из твоего города — маленькое счастье. Вся моя жизнь там мигом всплыла. И потеряю какую-то, что-то давнишнее, разлучное чувствую. А ножки-то и так станут, и этак... Оперный, наш знаменитый. С белыми греческими богами по верхнему яруссу... На правом берегу. Было же такое: садишься в трамвай на Лагерной, огибаешь мимо станции Кривощёково по улице Станиславского вверх; башня, спуск к мосту через Обь, вверх по бывшей Каменке и выходишь как раз у Оперного. “Князь Игорь”. Сорочинский пел: “Ты о-одна, голубка Лада, ты одна винить не станешь, сердцем чутким всё поймёшь, всё ты мне простишь...” И было это так давно. Я учился в десятом классе, ещё моста не было, а Пруглов и Круглов не пели “Над широкой Обью бор шумит зелёный...” Пели они это, когда я уезжал. А Круглов-то в Краснодаре в оперетте оказался. Балерина. И не знает, какие чувства вызвала у пассажира. И не взглянет... А поезд приходит на третий путь... Погрузились, поезд дёрнулся, мягко застучал вниз, и вместе с этим стуком повлеклась мелодия моих старых путешествий домой, к матери.

Поезду выбрали по расписанию южную ветку — к Волге, через Сталинград на Самару. Утром я купил копчёного толстолобика на станции Зимовники, на той самой, с которой тридцать лет назад выбирался в сальские степи к дяде Васе, материному брату. Названия станций буду записывать в тетрадь, кое-какие вызовут вздох: о-ох, это ж когда я выходил из вагона что-то купить у торопливых женщин и видел эти двери, этот простенький зал, окошечки касс. Везде была своя жизнь, лежали за стеклом среди московских газет и свои, и всё казалось немножко странным в своей привычной осёдлости. В дороге острее чувствуешь долготу времени.

Станции теребили мне мою молодость. Дальняя дорога всегда возвышала мои чувства, жизнь за окном казалась милее и легче, в тамбуре под быстрый стук колёс нежно растревал себя песнями, звал к себе кого-то близкого. Одно небо хранит, какие ненаписанные повести и романы вытянулись в ниточку за годы странствий в вагонах. И не подсчитать, сколько утеряно тонких мгновений. А самое главное: ещё все привычные современники жили-были.

Из плывущего вдоль земли окна глядишь на какое-нибудь деревце вдалеке, как на сиротку, оставленную под небом на одинокую долю, мельком пожалейшь его. В поездах давно уже не разговаривают так щедро, как после войны, и я подолгу следил за медленной сменой просторов, речек, деревень и железнодорожных будочек на разъездах. Или вытягивался на жестком ложе и читал книжку, которая долго ждала в Пересыпи благодарного мгновения, — “Летопись Сибирских городов”. Читал как-то виновато: уехал, потерялся, всё сибирское затуманилось. К боковому столику тихонько подседа женщина, такая милая, что тотчас вздумалось помечтать о ней, суженой для меня, обгословенной мне хоть ненадолго. Она будто почувствовала мою тайну, отвлекла свой взгляд на пролегающие под окном, вмиг пропадающие полосы, поляны, лесные огороды, и я как-то мешал её полному одиночеству, она всё же знала, что я рядом. Я рассеянно читал “Летопись сибирских городов”.

За долгую жизнь накапливается много потерь, и одна очень горькая связалась с моими возвращениями домой через всю бесконечную Россию, с моим приближением к станции Кривощёково и мельканием первых изб на окраине. Не пугался и не ожидал я когда-то, что вся насыщенная прелесть местечек, вызывавших родимые чувства, превратится в чужую каменную застройку, и ничего не останется от улицы Демьяновской, и закроется высотными домами моя улица Озёрная.

От станции Татарской начинал я ходить по вагону туда-сюда, выглядывать на обе стороны, узнавать забытое вдалеке, метался в тамбуре, радуясь то берёзовым околкам, то сибирским ставням на окнах, думал, что матушка уже поджидает меня, чего-то приготовила вкусного (наверное, шпоре с подливкой и котлетки) и уже соседке сказала, что сыночек покажется на углу к вечеру.

Такого никогда больше не будет... Некому на Озёрной меня встречать, что-то накануне покупать на базаре, мыть полы, прислушиваться к скрипу ворот и со смущённой радостью выходить на крылечко.

Я буду приезжать к себе самому.

## БЛИЗКИЙ ДУШЕ

— Я посилю у тебя часок, — сказал я ему у порога, — а потом будем рассуждать.

Такой он славный дружок, постарше меня и получше, пожалуй, особым вниманием читателей не избалованный, но правильный парень, наш, русский, с сугубым печальным пристрастием к деревне и её горьким певцам — Шукшину, Абрамову, Белову, Евгению Носову, Астафеву, Распутину, Потанину, Рубцову. Как-то первый раз встретились в гостинице “Россия”, потолкались, поужинали несколько вечеров на углу этажа в буфете и расставались уже как родные. Он бывал у нас на Озёрной, когда ещё матушка моя жила там, всегда исполнял мои дальние просьбы и поручения, покупал и высылал мне сибирские книги, без конца ободрял и утешал меня похвалой, другим говорил про меня: “Да он как парнишка, худенький”. Таким он меня и нарисовал: паренёк склонился к своей новосибирской книжке “Что-то будет”. Не было никакого предчувствия, что через два месяца Бог разлучит нас навсегда; я не запишу на диктофон его голос, наш разговор так и расплывётся в комнате, и только на юге останутся в папках его письма. Да в тетрадку переписал он мне два своих стихотворения из солдатского блокнотика. В Северное мы с ним уже не поедем.

“В Сибирь ты нынче не поедешь, а жаль. Северное тебя бы ещё раз вдохновило. А деревни! Они тебе чалдонские слова вернут. Зачем забывать-то?”

Писем немного. Я теперь всё сибирское собрал в уголок, дружку над каждым листочком, фотографией и ругаю себя за то, что не часто напоминал о себе. Теперь бы я объездил с Василием Михайловичем все деревни.

Я проснулся, пахло чем-то вкусным, дружок мой готовился встречать меня за столом. Он, когда говорил, то чуть улыбался, глаза его зернистые светились лаской, и нынче, едва почувял, что я встаю, подошёл ко мне и спросил:

— Чалдонки тебе снились?

— Какие? Из повести моей, что ли? Они состарились, а какие ещё? Меня давно уже забыли те прелестницы, которых я мог полюбить, если бы жил здесь.

— Десять лет назад мы летали в Северное (при Ельцине всё прекратилось, только автобусом полсутки). И возили нас в Остяцк (это рядышком), там учителя накормили нас пельменями, молоденькие, милые. Тебя читали. А ты всё не едешь и не едешь. Может, это из-за тебя самолёты летать перестали?

— Далеко как... Раньше до Барабинска поезд шёл восемь часов, да от Барабинска ещё трактом полтора часа вёрет... Всё раньше было далеко, и это хорошо. Тоскливое долгое чувство что-то рождает высокое.

— Утомляет...

— И утомление на пользу. Много, много раз пробирался я в Остяцк... перед сном. Сельцо это стало заповедным потому, что оно заброшено, сиротливо... “Ах, Остяцк!” Сижу как-то в Кремле в том зале, где выступал Сталин, в президиуме важные писатели, на трибуне оратор... и вдруг на уме Остяцк, дальняя даль, там снег, глушь, как хочется туда...

— Чем дальше живут люди, тем больше хочется их пожалеть, — сказал Василий Михайлович. — Так я Кыштовку вспоминал.



— Там в ссылке жила сестра Марины Цветаевой — Анастасия. А представь, что мы застряли в Остячке, и самое радостное путешествие у нас — Северное, двенадцать вёрст. Ну, иногда Барабинск. Осенью дожди, дороги расхлябаны, зимой бураны. Не вылезешь.

— А если бы жить там всегда? Или в Новосибирске?

— Страдал бы. Всё глядел бы на запад, где матушка родилась, мечтал бы уехать. Господь вывел на другую дорогу. “Ах, ах, Остяцк!” А если бы жил? Как далеко, какое одиночество.

— Остяки там жили в старину. Потом ушли куда-то. Народ такой был.

— Остяки, да. Остяки, Остяцк.

— Поедем?— Я всюду опоздал на много лет. Раньше, раньше надо было. Потери великие, и только я знаю, что потерял. Уехал, бросил мать, и кажется теперь, что без меня тут шла какая-то другая, великая жизнь, и я потерял что-то изумительное, что была бы другая судьба (это так и случилось). Помню, вечерами, когда солнце садилось за Толмачёвым, мою душу тянула тоска. Друзья уже учились в Москве, порою обидно было ждать трамвая всё на той же остановке, идти мимо тех же бараков, покупать хлеб в том же магазине, видеть в окно, как по улице идут мимо всё те же соседи. А потом... потом, как я хотел, чтобы и соседи те же шли, и на той же остановке я ждал трамваи “А”, “Б” и “девятку”. И матушка с огорода принесла первый свежий огурчик с пупырышками. И этажерка в углу так же стояла с томами Белинского и “Русские писатели о языке”...

Глаза Василия Михайловича жалели меня; я замолчал.

Никаких слов мне не найти, чтобы передать мгновение моего несчастья, самочувствие от моей давней разлуки с домом. Сколько раз звал он меня в Сибирь, обещал повозить по деревням, а я всё откладывал и только разок успел побывать с ним в Верх-Ирмени, в той старой деревне, из которой и приезжали к нашему двору колхозники в санях. Его книгу “Не прячьте скрипки в футлярах” я купил на Красном проспекте ещё до нашего знакомства, а через семь лет, когда я встречал Новый год у матери на Озёрной, он подписал мне “Снегири живут на снегу”. Тогда же напечатали в Новосибирске мою книжку “Чалдонки”. И тогда же мы договорились попробовать пельмени в Остячке, зайти в библиотеку в Северном, но я выманил матушку с родимой улицы в Пересыпь и появился с нею на мгновение через четырнадцать лет. А после того простыл мой след ещё на десять годочков. У кого просить прощения?

— Хорошо сидеть с тобой и крутить в пальцах рюмочку, — сказал я за столом. — И так было бы часто, если бы я жил тут. Ездил бы к тебе на передаче. У меня есть дневник Лещенко-Сухомлиной, знаешь такую старушку? В войну жила в Новосибирске. Пишет про Пушкинский театр, бывший Александринский, у нас в эвакуации. Двоюродная сестра водила меня маленького в нашем Кривощёкове в клуб Клары Цеткин на спектакль “Русские люди”. Ничего не помню. Зато в “Красном факеле” помню публику. Ого! Сибиряки! Не о казаках, а об этой старой исчезавшей породе написал я роман. Если бы жил. И один из героев вернулся бы из Харбина.

— У нас в городе есть харбинцы.

— Я давно мечтаю увидеть Харбин. Ах, не то бы писал я. Не те архивные листочки перебирал. Налей чуточку, и выпьем за моё горе.

Ласковый Василий Михайлович ещё душевнее пожалел меня, вытянул-ся ко мне, точно хотел приголубить, как дитя брошенное.

— За твоё путешествие в Харбин.

— Представляешь, мой золотой чалдон, — стал говорить я с проникающим хмельным удовольствием. — Белые вошли с Деникиным в Екатеринодар 18 августа, а то, что колчаковцы захватили Новониколаевск в мае того же 18-го года, меня как-то не очень трогало. Далекое жил. Представляешь: в Пелым сосланы Бирон, фельдмаршал Миних, в Берёзов — князь Меншиков, вице-канцлер Остерман, а в уме моём всё запорожцы, запорожцы, запорожцы. Суворов в Тамани, хатка Чепиги в Екатеринодаре. На реке Оби в восемнадцатом веке основали в остяцком княжестве Троицкий монастырь, а я про Лебяжий под станицей Брюховецкой знаю больше. Мне бы орать:

почему в Новосибирске нет улицы братьев Маштаковых. А я пишу про Бабычей, Бурсаков, Ивана Бурноса и Свидина. А Кольвань! Кольванский купец Кирилл Кривцов построил церковь в память Александра Второго. Там теперь женский монастырь. И вдруг обидно! А я всё в Тамань, да в Тамань, да в Анапу. Что-то пропустил я. Навсегда.

— Зато в Харбин поедem вместе.

— Там, передавали по “Голосу Америки”, осталось всего семь русских. Мой дядя Фёдор заходил туда с советскими войсками в 45-м году. Привёз, помню, шёлковые всякие китайские кофточкИ, платочки, и это вижу ясно: сидим во дворе, рассказывает, то да сё.

— А я как раз в сорок девятом служил в армии и был недалеко от Харбина. Я писал стихи.

— Ты-ы? О Господи, все были поэтами, один я сухарь. Я и книжки до девятнадцати лет читать не любил.

Василий Михайлович поднялся и вышел в большую комнату. Я забылся наедине. Где сейчас дядя Фёдор, мой крёстный, что делает? Уж не в Харбине конечно. А вроде недавно и прибыл оттуда в Топки, а потом к нам на Озёрную — проведать сестричку Таню. Да, да, китайские воздушные шелка, рассказы о чём-то чудном и загадочном: река Сунгари, Зелёный базар, Пристань на Китайской улице, какие-то хунхузы, китайские коробочки с чаем... Я не понимал, зачем крёстный вернулся в Топки из такого русского города, отвоёванного у японцев. Уже тогда я затосковал по Харбину. Какой-то ясный летний день на Озёрной, моя молодая матушка, ещё живы вокруг все соседи, и болото внизу голосится лягушками.

Я налил в рюмочку коньяку и выпил.

Василий Михайлович как-то уютно возник передо мной с записной книжкой, милостиво улыбнулся, помолчал. Я налил и ему и подал кверху ему в руку заждавшуюся чарку. Он важно-игриво принял, откинул голову и долго не пил. Мы, словно сговорившись, что-то разыгрывали, будто оказались на сцене “Красного факела”.

— Вы случайно не из Харбина?

— О да, — отвечал он, — я был в Дальнем, потом заехал в Харбин поглядеться с моей первой любовью и теперь живу в гостинице в Новосибирске...

— Магазин Чурина в Харбине... это не ваших родственников?

— О нет, я артист.

Так мы пошалили ещё и ещё выпили и, наконец, оба взглянули на записную книжку.

— Я не то что некоторые прозаики, — с доброй издёвкой в голосе сказал он, — которые в простых чалдонах влюблялись; я любил женщин знаменитых.

— О, это чертовски интересно, — подыгрывал я.

— Служу в армии в селе Жариково и люблю актрису Валентину Серову, которой сам Симонов посвятил стихотворение “Жди меня”. Позволю себе ещё рюмочку...

— Та-к-с... Двадцать девятое июля сорок девятого года. Влюблённому зрителю-солдатику — двадцать два. Читаю:

*Я же знаю — тебя не встречу,  
Так уж, видно, судьбой дано,  
Но зачем-то я каждый вечер  
Торопливо бегу в кино.  
Вновь сижу я в кино и знаю,  
Что я видел тебя вчера.  
Но хорошая ты какая!  
И чарует твоя игра.  
Я согласен в аду сражаться,  
С небоскрёбов любых прыгнуть  
Лишь за то, чтоб к тебе прижаться  
И послушать, как ходит грудь.*

*А какой ты душой владеешь...  
Я смотрю и совсем больной.  
Целовать ты, поди, умеешь,  
Как подносишь стакан хмельной.  
И совсем на тебя похожих,  
Как мне кажется, больше нет,  
Шьёт же Симонов Костя тоже  
За тобою со школьных лет...  
Я тебя вспоминать не буду  
В повседневных моих трудах.  
И тебя навсегда забуду,  
Ты ведь старше меня в годах.  
Что сегодня опять такое?  
День так тянется, нет конца.  
А кино сегодня какое?  
Говорят, "Четыре сердца".*

— Подписался?

— А как же. "В. Коньяков".

— Если бы она узнала! Бедная. Если бы какая сплетница принесла ей эту сладострастную весть... Она тотчас побросала бы в чемодан свои платья и лифчики и спустилась к тебе прямо в воинскую часть, и ты бы повёз её в Харбин, мой дядя встретил бы вас с автоматом, покормил и уложил спать, и она потом, проклиная всё на свете, рыдала бы на мосту в Новосибирске, я шёл бы ей навстречу и... Налей-ка, братец! "Шьёт же Симонов Костя тоже" — эту строку надо изучать с пятого класса и по одиннадцатый... Загадочная строка! "Шьёт"... Вы, молодой человек, в Сиблаге побывали? Ну, и Симонов Костя... "Шьёт"... Есть анекдот неприличный... Я заговорился... Прости. "Ты ведь старше меня в годах". Какая чудная молодая наглость! За такую наглость надо выпить. Ай да Василий! Спиши мне слова. Так обычно просят поклонники песен.

И он переписал мне своё обращение к Валентине Серовой, давно покойной и засыпанной славой разных гурченок, и ещё одно стихотворение скопировал я сам, а третье, самое лучшее, Василий Михайлович скрыл.

*Когда твой первый сын, изрядно походив,  
Измажет ножки грязью на дороге,  
Ты обними его, с собою посадив,  
И расскажи спокойно, без тревоги.  
Ты рядом с ним, разнежившись душой,  
Его играя волосом волнистым,  
Скажи ему: "Как вырастешь большой,  
Ты выучись и стань артиллеристом.  
Ты будешь нравиться девочкам и друзьям.  
И будет так, как всё недавно было.  
Послушай, сын, ведь даже мать твоя  
Артиллериста славного любила".*

— Плачу и рыдаю... — сказал я. — Все, все и стихотворения тоже к моей ночи на улице Озёрной и на станции Кривощёково. Пью за тебя, артиллериста, не дошедшего до Харбина и храбро отбивавшего артистку Валентину Серову у Константина Симонова. И за себя!

— И за чалдонок.

— И за чалдонок. Но каких? Я потерял их из виду. За все-ех чалдонок. Поедем в Харбин? Сейчас можно. Были бы деньги. Только я и не был ни-где. Ни в Харбине, ни в Париже.

Василий Михайлович отлучился и тем позволил мне несколько минут поскорбеть о себе. Я сам себе жаловался на неудачи, на зря растраченное время, вдруг прикидывался пустым, ущербным, и этой душевной слабости потакал хмель: он благословлял на слёзы воспоминаний, на какое-то тихое горе,

которое ночью сдерживалось моей трезвостью. Я закрыл глаза и потерялся в полусне.

— У нас в Новосибирске, — услышал я чей-то голос, — выпустили книгу о Харбине. Я дарю её тебе.

Я принял толстую книгу, поцеловал корочку и ушёл к той постели, на которой почивал утром. Василий Михайлович на минутку отнял книгу, раскрыл давно заложённые лентой страницы и стал нетерпеливо просвещать меня чужими харбинскими страстями...

— “Я летела в Харбин, в своё детство, счастливое, тёплое, сказочное...” Она живёт в Австралии. Послушай: “Всё изменилось. Нет тех спокойных торговых улиц с русскими вывесками, нет улочек с утопающими в зелени особнячками работников железной дороги, неторопливых извозчиков, мерного цоканья лошадиных копыт, рикш”.

— Печально. Всё кануло.

— А у нас в Новосибирске! Что осталось? — сказал Василий Михайлович. “Привезли мы белое шёлковое платье моей мамы, какие носили в Харбине в тридцатые годы — с русской вышивкой крестом и кисточками у ворота из тех же ниток...” Берегли, везли из Австралии... А племянник одного нашего писателя выбросил все вещи матери, всю посуду на свалку. “Вы помните Сунгари? Помните крутой откос правого берега, укреплённый камнями? И особый запах тальника, так пахнут только дальневосточные реки. Помните Хаиндровскую протоку? А помните озёра? Не надо стыдиться нежных воспоминаний... судьба разбросала нас по всем концам земли...” Читай! Может, сорвёшься когда в Харбин... И напишешь обо всех осиротевших без него — “Мой Харбин”.

— Харбин — это тоже утраченная царская Россия... Вот всё прочитаю и поговорим...

Он положил ещё к моей подушке книжечки о сибирской старине, я стал перелистывать, жалеть ушедших, таких милых, благородных на фотографиях, прочитал в русской зарубежной газетке о наших артистах, навещавших звёздным шалманом Харбин после фестиваля “Амурская осень”, позавидовал им и нечаянно задремал.

Проснулся я тяжёлым, удручённым пережитым за ночь. На кухне разговаривали.

— В доме бабушки царили тишина и сумерки, — гулко звучал чей-то женский голос. — Свет дня входил уже смягчённым, приглушённым бумагой сёдзё. Эти дома не ведали весёлой, пыльной смеющейся щедрости солнца. Если иногда солнцу и удавалось просочиться, то на короткое мгновение, через завешенное стекло сёдзё точно на высоту колена. А моя голова погружалась в сумерки, я становилась как будто великаншей...

Я показался не сразу, голоса на кухне не прерывались, я поделушивал, а потом вошёл крадучись и осторожно поздоровался. Седая нерусская женщина обернулась и приветила меня тихим поклоном. Это была милая пожилая японка, она читала Василию Михайловичу свои воспоминания. Я почти на цыпочках продвинулся в уголок к газовой плите, негромко снял с полки чашечку с блюдцем, пролил в неё из чайника кипяток и замер у окна ещё непосвящённым. Водю в горном ручье струилась речь японской незнакомки, и я тотчас почувствовал, что она какая-то особая, не нашей современной породы. Она взглянула на меня, улыбнулась с поклоном и тем приглашала меня послушать свои откровения.

— Встань на колени, опусти голову, ещё, ещё ниже. Согни колени, положи туловище на ноги, вот так. Каждое движение должно быть выполнено на этой высоте: приветствие, разговор, открытие и закрытие двери. И там тихо складывать руки. Встань на колени, будь с постоянно опущенной головой, опусти глаза, не смотри людям в лицо. Никогда пристально. Смотри наискось, тайком, держи низко бёдра, голову, особенно голову, опускай её всегда. Не будь дерзкой.

Я, наверное, глядел на неё и слушал восторженно и удивлённо, и она, заметив это, тотчас приняла меня в свою компанию и со вздохом заговорила со мной, как с союзником:

— Ах! Той жизни уже не вернуть... Вы даже не представляете, сударь, какой была жизнь при государе, и какой был Харбин, и самое главное... люди. Нет, нет, — отмахивалась она от нас узенькой рукой, — вам никогда не представить... Да разве сейчас может быть что-то похожее на магазины Чурина? А какая предупредительность персонала... Универмаг Чурина — настоящий дворец. Лестницы, полы мраморные, ковровая дорожка бордовая, перила лестниц дубовые, люстры... Это в далёком-далёком Харбине, ему было так мало лет, с девяносто восьмого года — судите!

Василий Михайлович с укором косился на меня: не то ли, мол, я вещал перед тобой утречком ранним? Словно догадываясь о тайне, Кумико (так звали её) кивала с улыбкой: да, да.

— Елисейские знаменитые магазины до революции беднее чуринского. Товары откуда хочешь: Париж, Лондон, Вена. Это в китайской-то глуши, среди сопок. Можно ли было подумать, что после войны почти все выедут, разбредутся по всему белу свету? — Она горько помолчала. — Ничто не спасло. В женской обители (матушку Руфину видела не раз) обновлялись совершенно почерневшие образа. Ми-ро-то-чи-или... И такая судьба!.. Русскому Харбину уготован был конец. Можно было из Харбина поехать поездом во Владивосток. А во Владивостоке... Что во Владивостоке?.. Вы можете представить? Всё было! Даже французская пудра “Лебяжий пух”.

— Сейчас бы в Харбине такая жизнь была, если бы не...

— Не говорите! — поняла она, на что я намекаю. — Жи-или-и бы-ы-ы! Шум многих языков слышался, мы этот шум, эти наречия, эти мелодии вдыхали, мы понимали языки, на которых дома не разговаривали. Улицы назывались по-китайски и по-русски. Старохарбинское шоссе по-китайски Тундаоце, по-японски Цудогай, Хорватский проспект (в честь генерала Хорвата) — Сятангай, а по-китайски Челаньцзе. Эх, Харбин, Модягоу, Сунгари... Вот я пишу, будьте милостивы, послушайте. — Она перевернула страницы, нашла то, что нужно. — “А свет был там такой ослепительный. День там был таким длинным. Трава там была такой высокой и такой пахучей, а деревья были такие вольные, такие щедрые. Зима была тёплой, лето счастливым...”

— Так только в старинной японской прозе писали, — сказал я. — И как же вы живёте? Вас слушаешь, вы страдаете без Харбина. Зачем уехали?

— Я обо всем написала.

Грусть повисла над нами. Мы тягостно замолчали.

— Сблаговолите подарить ненадолго хоть пару листочков...

— С удовольствием. У меня есть копии. Скоро в Париже я издам книгу.

И она легко отделила лист, другой, подала мне с той улыбкой щедрой высокой природы, которая проявилась с первой минуты. Я, как всегда таких при таких встречах или в минуты чтения, пожалел, что поздно родился, не жил в царской России.

— Я вас так понимаю, — сказал я благодарно. — А мой Харбин на левом берегу Оби.

Было жаль, что она ушла. Провожал я её до большой дороги и расставался как старый знакомый, — так она была со мной любезна, отзывчива на всякий вопрос, и даже её японская тонкая церемонность утешала моё скромное самолюбие.

— Другие люди, — сказал я Василию Михайловичу. — Таких уж мало.

— Мало! — хмыкнул мой друг — Вовсе нет. В ней что-то есть древне-японское. А что в нас древнерусского?

Японка ещё пуще сдружила нас восхищением перед нею, мы настроеным своим благодарили её за подаренный день, за взлетевшие чувства наши, за то, что она вернула нас в дедовские времена русской жизни. Жили мы столько лет после войны и (как все прочие русские) ничего толком не знали “о другом мире” в нашей истории; он, этот мир, с тайно-скорбным пристрастием лелеет Харбин и его допотопно непохожее бытие. Харбинцы в разных концах земли перекликаются, как какое-то одиноко счастливое и обделённое племя... “Затаим на минутку дыхание, — попросила нас Кумико напоследок, — поклонимся праху оставшихся на покой в земле маньчжурской”.

— Она даже так выразилась, — вспомнил Василий Михайлович, когда мы вышли к Красному проспекту. — “...В сиротских могилах со сгнившими крестами... и память о них развевана маньчжурскими ветрами”.

— Так хочется поехать...

— Из Владивостока уже поезда туда не ходят...

— Лет семьдесят.

— Сколько земель мы потеряли...

Уже вечерело.

У Оперного театра с чешуйчатым куполом я похвастался, что помню знаменитых солистов Сорочинского и Мясникову, а у театра юного зрителя с колоннами посередине я тотчас воскресил Мовчана, Орлова, Гаршину и инженерно Булгакову.

— Иду с тобой, — сказал я Василию Михайловичу, — что так давно меня здесь нет. А вон и книжный магазин с угловым входом...

— Его скоро снесут...

Последний раз я был здесь давно, а ещё раньше купил как-то “Жизнеописание двенадцати цезарей” Светония и сборник рассказов Сапожникова. Всё помню до ниточки. В тот год в Новосибирске издали мою книгу “Чалдонки”. Я зашёл высмотреть новинки местного издательства. Кто бы это повторил мне тот миг... Тогда от стеллажей у стены отделял покупателя прилавок. Я ещё был зоркий, хорошо вылавливал названия. Фамилии авторов присмирели на обложках, робко просили считаться с их изделиями, не презирать их, занявших местечки рядышком с вечными классиками, громкими москвичами и иностранцами. Мои “Чалдонки” глядели на меня с верхней полки, и я забоялся, что продавец узнает, что книга эта моя, и тогда мне станет позорно подать чек... на двадцать экземпляров и ждать, когда их завернут и обвяжут тесёмкой. Я обошёл другие ряды, полистал широкие тома летописей и снова подступился к тому прилавку, где какая-то девочка перелистывала с подозрением мои “Чалдонки” и с облегчением вернула продавцу, как что-то лишнее. “Ну, какой ты писатель? — упрёком толкал я себя в спину. — Давно ли ты тут пробегал в театр казанской сиротой и книжки-то читать не любил, только пьесы Александра Николаевича Островского чуть ли не наизубок выучил из-за того, что в фильмах-спектаклях обожал старух Малого театра: Рыжову, Турчанинову, Яблочкину, Пашенную. Неисповедимы пути наши”. “Чалдонки” читали в деревнях, писем немало пересылала мне редакция... Родной город понёс мою фамилию по домам... Он ждал от меня кровного верного родства? А я каждую весну уезжал в крымский Коктебель...

На левый берег я пришёл в темноте. Внизу Красного проспекта мы, немножко играя в старомодную церемонию и веселясь, расстались, и я тихой походкой направился к мосту, любовался нашей широкой Обью и старым служакой мостом железнодорожным, возросшим этажами домов кривощёвским берегом, поднялся к месту башни, выбрался по улице Германа Титова к площади Станиславского, повернул направо и незаметно пристал к скверу кинотеатра “Металлист”, в начале коего каменная скорбящая мать и высокая череда стен с фамилиями погибших зовут поскорбеть. Там есть и металлическая строчка с фамилией моего отца. Я дотянулся рукой, провёл пальцем, помянул дни, когда он нёс меня к станции на плече.

И пошёл я дальше, обогнул базар, увидел останков Базарную (для меня по-прежнему Лагерную), трамвайные линии, удаляющиеся мимо бывшего болота к станции, угол улицы Озёрной... с краями изб Банниковых и Шальневых. Куда меня привело? Ведь ночью я у братишки Шуваева на улице Немировича-Данченко, а на Озёрной у меня угла нет.

## СОСНА В ДЕРЕВНЕ УТЯТКА

Теперь, на закате моих дней (куда от этого денешься), как невозвратную милость, припоминаю приезд к вам в 70-м году.

Вы, молодые, только что соединившие узы, повезли меня в Утятку — как я говорил, “кормить мною комаров”... Жаль, не записаны наши разговоры,

прерывистые реплики бабушки, сидевшей на веранде у окна (такую запомнилась), не очень приветливой со мной,

Да, жаль, что живых голосов не собрали тогда в магнитофонную ленточку и послушать теперь не сможем. Я бывал у вас в гостях и позже, но почему-то свидание то задержалось во мне особым щемящим чувством. Старинная деревня Утятка тогда ещё полна была жизни, не то, что теперь.

Мне кажется, в то самое лето я высказывался о том, что потом повторял не раз и перед тобой, и перед Василием Коньяковым, повторял именно после путешествия, сразу же на вокзале или дома на обеде.

— Народишко наш всё томится в поезде, всё он, бедненький, мается и выжидаёт свою станцию, длинная больно дорога выпала ему, захватили окайнные предки много земли, подобрались аж к океану, а теперь страдай из-за них, будь они неладны, гляди сутками в окно да то за кипятком к проводнику ходи или в туалет общий, газеты перебирай; едешь. едешь. и конца нет, отвалишься и спишь через силу. Ну, мыслимо ли такую державу отгрохать, зачем так перестарались? От Владивостока до Калининграда больше, чем через океан до Америки, и если на поезде, то после войны десять суток надо было стук колес слушать да за кипятком бегать, тогда ж кипятком разве что на станции полагалось брать. Вот, милые мои. Знакома вам, Люся, Виктор Фёдорович, такая дорожная досада? И потеряли Советский Союз (а это царская Россия) и потому ещё, что ездили из конца в конец, и дух не захватывало: какие были предки! Сколько тяжёлых вёрст прошли и остроги поставили, какая государева воля направляла. Попутчики мои не “Покорение Сибири” читали, а сканворды разгадывали. Устали бедняжки. Это же не на лошадях ломиться сквозь лесные чащи. Оказалось, через века, что ехать в мягком вагоне на поезде тяжелее, в ресторане по двести грамм заказывать, толковать о порядках в стране тяжелее. Это же не по рекам спускаться. Деревья рубить, комаров, гнуса своей кровушкой поить. И ничего не написано толком. И вестернов наподобие американских нет. Я вот книжку издал, ну, и о чём она? Танцы, приступы любви, стук в окошко.

У меня как раз перед этим вышла в Москве книга “Голоса в тишине” с напутствием Юрия Казакова, я всего второй год не учил детишек в школе русскому языку, перебрался из посёлка под Анапой в Краснодар и (вот сталинская поблагка писателям) уже получил квартиру; счастье вдрут слетело на мою голову, но я ещё не опомнился, не вздрогнул (как это здорово!), недооценил, наверное, спасение своё на многие годы и... “просто жил”, обвязанный суетой дня текущего. До того я познакомился с тобой в издательстве “Молодая гвардия”, а зимой мы устроимся нечаянно на Высшие литературные курсы и проночует в общежитии на улице Добролюбова целых три месяца! Теперь, вспоминая, можно только всплакнуть: зачем так скоро минует жизнь?! Впереди было столько нескончаемых месяцев и долгих лет. Ты писал рассказ “Русская печка”, а я повести “На долгую память” и “Люблю тебя светло”. Вася Белов уже напечатал “Привычное дело”, а Валя Распутин — рассказ “Василий и Василиса” в “Литературной России” (до знаменитого “Последнего срока” ещё не близко). Были мы молоденькие, Сибирь наша ещё не задета порчей цивилизации, реки Тобол, Иртыш, Обь, Енисей, Лена могуче вытягивались в долгом пути к северу в таёжной тишине и вековой заповедности. Ещё жили в Сибири кержаки и чалдоны старого закала, и далеко друг от друга располагались деревни. В твоей Утятке Анна Тимофеевна пригласила нас в свою школу поговорить с детишками.

В бору я залюбовался красивой сосной и никогда потом не забывал её.

Но где же мои листы, где строчки в блокнотах, в дорожной тетради? Нету таких блокнотов, нету толстых тетрадей, какие я позже брал всегда с собой в дорогу.

То были мои самые золотые годы; в моей жизни свершалось так много чудесных перемен, я обретал новых друзей, укреплялся (скажем так) в своей ипостаси. Теперь трудно отгадать, как бы я прозябал без того, что Бог послал мне неожиданно. Но и тебя послал мне на дружбу сам Господь. В детстве мы жили с тобою рядом, но я не повстречал бы тебя в издательстве “Молодая гвардия” и нигде вовсе. И деревни твоей Утятки, и сосны в бору не

увидел. Окутала бы меня совсем другая жизнь. Ведь таких невестучьих душ на земле много. Живут и живут, и не знают, кто мог бы приблизиться навсегда. Нужно чудо, благоволение свыше. Меня и правда теперь умиляет, что мы жили неподалёку. А по другую сторону от меня, но на притоках (Бие и Катунь) моей Оби рос Вася Шукшин, а уж за ним, далеко-далеко — Валя Распутин. И всех я узнал и сдружился, и мне было легче. Вот какое счастье принёс мне рассказ “Брянские”. Ну, и ещё можно многому (как будто нечаянно) поклониться на старости лет. Вот и той зиме, заметной снегами на сибирских просторах, когда в конце января возвращался я от матери на юг и задержался у вас, мои милые друзья. Никакая бы пророчица не просчитала по звёздам, никакая ловкая цыганка не нагадала на картах или по руке, что когда-то (ну, через полвека) я как счастливое мгновение (тоже потерянное) буду вызывать тот день, когда мы ходили с тобой в книжный магазин покупать разрозненные тома сочинений Толстого. Весь город был белый, мягкий, спокойный. Уценённые тома обиженно томилась в нижнем ряду, у самого пола. “Хаджи-Мурат” с черновиками, историей написания стоил восемьдесят копеек. Тарелку горохового супа подавали тогда в столовой за тридцать пять копеек. Том рассказов (“Алёша Горшок”, “Корней Васильев”, “Тихон и Маланья”) спустили до тридцати копеек. Я выбрал четыре тяжёлых тома. Они-то и напоминают мне сорок лет о снежной зиме и о вашей малютке Катеньке, укутанной в люльку. Я берегу их. И жалею, что ни строчки не записал о том, как ехал от матери из Новосибирска, как меня встречали, о ком мы говорили. Это нынче мой печальный припев: впереди была целая жизнь, и по всей нашей земле здравствовало много знакомого нам народа и родни.

Больше не езжал я в Утятку и до проклятого переворота 1991 года, и позже. До этого мы два раза в год встречались в Москве на писательских встречах. Все мы тогда не понимали, в каком скромном благополучии живём, и многие считали за доблесть и порядочность кривиться в сторону заведённых порядков и самой власти. Как бы ни жил человек, а никакой тревоги и безнадежности в его душе не роилось. Ещё не знали мы, какие бедствия затронут наши годы. Война в Афганистане, Чернобыль, разъединение земель, кавказские пропасти.

Порвалась великая цепочка, убрана надёжная защита, всё разладилось, и я замкнулся в своём углу, шесть лет не показывался в Москве. На дорогах в поездах грабили, всюду убивали “новых русских”, цены взлетели на всё, работы на местах не стало.

Только после смерти матушки завернул я в Москву из Сибири.

И уже попозже стал отмечать в билете остановку в вашем городке, в котором до революции варили шесть сортов пива, а из области отправляли масло в Европу. Долго не виделась, в вагоне ожидание было томительным. Поезд по длинной окраине полз черепахой, наконец, под вагоном зашипели тормоза, вагон затих, и проводница прошла с флажком в тамбур.

Маленькое семейство смущённо улыбалось мне, и через минуту мой друг протягивал руку к моей “челночной сумке”.

— А где же белая будочка с надписью “кипяток”?

— Осталась в прошлом веке, — сказал Виктор Фёдорович.

— Она была такой же родной, как мосточки у нас на болоте.

— Как паровозы ФД и ИС. С паром сзади колёс, с запахом сгоревшего угля. И пиво уже на станции в кружки не наливают?

— И мороженое в котомках через плечо не носят, — сказала Люся.

— А сосна не забыла меня?

— Она каждый год ожидает вас. — Люся не переставала называть меня на “вы”. — А вы только обещаете. Она, бедная, ждала-ждала и состарилась.

— А я только обещаю. Домой-то столько лет не доберусь. Вот, наконец, побывал. Позвольте вас обнять, Люся, и по-партийному поприветствовать в вашем богоспасаемом граде всё ваше население.

Мы все заулыбались, вмиг разыгрались, были рады и тотчас привыкли друг к другу.



— Пойдите, пойдите... — Я расставлял руки в стороны. — А почему же меня не встречала та умная дама, которая защитила диссертацию на тему “Одежда и обувь в цикле рассказов Бунина “Тёмные аллеи”?

— Она, господин писатель, не читала вас. Не слыхала о таком.

— А я ради неё так старался. Написала бы статью: “Грабли, телеги, кадушки и посуда в повести “Чалдонки”. Там, где варилось шесть сортов пива, высокая культура. И повесть “Воспоминание о Соколе” появилась неслучайно. Так?

Остатки деревянных купеческих домов, книжный магазин, где мы покупали уценённые тома Толстого, старый клён во дворе, подъезд, лестница, зеркало у входа, гостиная с картинами и диваном, фотографии — всё каким-то тайным эхом напомнило моё прошлое гостеванье.

Они ждали меня, всё приготовили к моему покою, трою винных бутылок словно хвасталась своим видом, на плите присмирили кастрюли и сковородка.

Какую милую родню подарило мне занятие литературой! И за обедом ласковые супруги первым делом спрашивали меня, что повидал я в своём детском углу.

— Я ждал на остановке Лагерная трамвая, смотрел вниз на четыре заводские трубы за станцией и калялся. Надо было ездить домой каждое лето. Это раз. А ещё... Еду на электричке через Обь, иду по Красному проспекту, стою на ступеньках театра “Красный факел”, окажусь ли возле стадиона “Сибсельмаш” и здесь же у кинотеатра “Металлист”, или зайду в переднюю бани, — о, как много мною забыто.

Они меня пожалели молчанием.

— Какие вы счастливые... — сказал я, когда мы после обеда поехали в Утятку, дорога огорожена была по обе стороны высоким бором, и я позабывал, что мои друзья из одного родного места едут в другое, такое близкое. — Те же у вас, что в детстве, порожки, та же банька, сарайчик, на том же огороде можно нащипать свежего лучку. А я свою улицу и не узнал. Не те заборы, не те дворы. Всё перевернуто, расстроено и достроено, дом Поступинских, где я любил толкаться по приезду колхозников из Верх-Ирмени, какой-то совсем другой.

— Это у всех во все века так, — сказала Люся. — Пушкин перед женитьбой поехал в сельцо Захарово, не так уж далеко от Москвы. Он там жил до восьми лет. И столько там перемен!

— Мне больше всего жалко мостков на низу моей Озёрной, у края болота. На таких тонких деревянных столбиках — ножках, по досточкам я ходил к дяде на Демьяновскую. Узенькие, чуть больше метра, и кое-где досточку вырвали, вода сверкает, кувшинки замечаешь, цветочки. А сбоку — дома с огородами, по весне затопленными, окошки близко, горшочки с цветками на подоконниках. Рабочие утром-вечером идут-идут на высоте. Из-за этих мосточков рад бы вернуться в детство. На каникулы приезжал, они ещё возвышались на ножках, звали за собой к станции. Нету стихов о них. И убрали мостки, и, наверно, я только и кланяюсь им.

— Вот твоё упущение, что не написал про мосточки повесть, — сказал Виктор Фёдорович. — По мосточкам ходил парнишка к девушке; девушка где-то в городе, мосточки разобрали, парень уехал в сторону Москвы навсегда.

— И опять надо каяться. Что я написал-то? Лишние майские жуки не попали в мои строчки. Сутробы выше крыш Сороки в огороде. Хмельное женское застолье. А как приезжал-уезжал! Выглядывал, что-то записывал, в тамбуре песни пел. Ничего щемящего нет в моих малых сибирских писаниях. Теперь уж поздно стараться. Душа та вытекла.

— Не жалуйся.

— Проезжал я всегда Петропавловск, отданный в руки казахов, непривычно и обидно думать о разделённых русских землях.

Не таким, как раньше, подъезжал я к Кургану. Повсюду что-то у народа отняли кровное, вековое, насущное. Зря, понимаешь, Астафьев в своей Овсянке водил под руку Горбачёва, Ельцина, Солженицына. Понимаешь!

— Хорошо Ельцина копируешь.

— Свобода, понимаешь.

— Заклятые “деревенщики”, будущие либералы нарочно нас так окрестили, как что-то второсортное, недоразвитое. Я до сих пор на всё смотрю из своей Утятки. И после того, что стряслось, не могу поверить, что мы беспечно, будто так надо, сидели в Кремлёвском дворце, где, точно из стены, выходил в президиум Сталин. И все, кто там толкался в перерыве, хотели там быть, пусть кто-то отбывал, что ли, партийное наказание, но не отказывался же. А мы с тобой “совки”.

— Будущие демократы первыми гнались к столам с закусками. Съезд кончался. Банкет. На верхнем этаже. Медленно прибывают по эскалатору приглашённые. Стоим у красной бархатной верёвочки. Ждём. Кое-кто, как на вокзале у кассы, пропихивается по шажочку вперёд, к этой верёвочной преграде. Строгий человек вынимает из кольца загнутый крючок, вялой змеей проносит её по воздуху назад и... И рванули! Аж стыдно было смотреть. Рванули к столам все эти будущие передовые коротичи. Занять местечко поближе к поперечному длинному столу президиума. Кто-то же из самих будет, может, даже Косыгин, а то и Леонид Ильич или Сулов. Ты же видел, да?

— И надо же, никогда бы не подумал, что буду ездить в Москву всё реже, и снесут гостиницу “Россия”, разрушат в Охотном ряду гостиницу “Москва”, везде мы жили.

— А это уже аксиома: никогда больше не войти в эту гостиницу с её мраморным холлом, с “приёмным покоем” справа, где сверяли изображение в паспорте с твоим живым лицом и выписывали ордер; распознала дверь широкого тяжёлого лифта, дежурная в костюме выдавала ключи, входил в тишину номера, окна на Манежную площадь, на гостиницу “Националь” и вдаль видится верхушка дома Пашкова, а слева, вдоль Кремлёвской стены, можно идти к Кутафьей башне, через которую мы обычно выходили после заседания во Дворце. Плохо жили. И всё не нравились порядки советской власти, всё шушукались да ворчали, ну, вот получили.

— Получи-или...

— И теперь, когда бываю, не могу без грусти проходить там, где Пушкин Опекушина стоит. Старую Москву, как и везде у нас, подчищали, и уже забывают, что напротив Пушкина, на другой стороне улицы Горького, уцелела с царских времён столовая, просторный такой длинный дом, словно жилой, и мы там в какой-то день съезда обедали. Астафьев, Коньяков, Сапожников, мы с тобой, ещё, по-моему, Яновский. Сибиряки. Собрались, как родные. Напротив Пушкина и бывшего Страстного монастыря. Столовую давно снесли, кого материть — не знаю.

— После всяких предательств жалко многое.

— Да. Сидели сибиряки, обедали. Сердились на власть.

— Без этого не жили.

— Умные дураки. Таких местечек в Москве, где с нами что-то было хорошее, не так уж мало. Там Юрия Казакова встретил. Там у театра Вахтангова купил толстую амбарную книгу, и дома начал писать роман о Екатеринодаре, сперва называл его “Тризна”. На Софийской набережной здоровался последний раз с Леонидом Соболевым, в тот день обсуждали мою повесть “Люблю тебя светло”, а в марте 70-го года я в Колонном зале обнаглел и подошёл прикурить от сигаретки Твардовского. Провинциал. “Из народа”, как пел Володин в “Кубанских казаках”. Дорвался.

— Но на банкете в Кремле я в какие-то секунды улетал в Утятку, мать видел, соседей. Как-то жалел всех. Я живу той жизнью, какой им никогда не видать. Я вот в Кремле, а они никогда здесь не появятся, не взглянут на храмы, ничего такого не узнают. Многие и в Москве-то не были.

— Так бы и я застрял в хуторе, ничего бы не увидел. Не пойму, как я стал писателем. С детства ничто не предвещало. Футбол гонял. Сколько счастья принесла мне литература... Какой печальной сложилась бы моя судьба. За что-то пожалел меня Господь.

— Кто-то невидимый прикоснулся к твоей головушке, — ласково, будто благословляя, сказал Виктор Фёдорович.

— В Анапе сижу с артистами на “Киношоке” и вспоминаю, как я, учитель, ходил в районо к Тигельбауму — директор школы в посёлке меня терзал, — и как я откровенничал, а Тигельбауму было всё равно. Так бы и жил униженно. В Анапе же купил я книжечку Глеба Горышина “Земля с большой буквы”. Если бы увидел его где-то случайно, не посмел бы к нему подойти.

— А как он в Пицунде, когда ты выпил и ушёл спать, закрылся, и мы подумали, что тебе плохо, и Глеб из соседней комнаты с балкона на твой балкон проник альпинистом к тебе (это на седьмом-то этаже).

— Но как он любил Шукшина, Белова, Распутина! “Прощание с Матёрой”, — писал мне, — плач по крестьянской Атлантиде.

— Его что-то мучало в Петербурге, то есть Ленинграде. Он не любил в писателях книжность, вторичность, клубную замкнутость, что ли. Ведь русской литературе, даже классической, не хватало ощущений русского простора, необъятной дали, все чувства и мысли, события смыкались в коридорах, залах, гостиных и в дворянских гнёздах. Нет великой далёкой России.

— Нет и душевного размаха. Чехов проехал до Сахалина, и что он оставил нам в письмах? Хотя раз бы подумал, какие люди шли и плыли в первый раз и ставили остроги.

— Валя Распутин в очерках “Сибирь, Сибирь” что-то такое схватил. Знаешь, этикие могучие северные облака над лесом, над рекой восхищают душу. У него это есть в очерках. А очерк о чайной Кяхте — как элегия.

— Печаль и обиду самой Сибири чувствуешь в томах “Литературного наследства Сибири”, которые составил Николай Николаевич Яновский. Помнишь, как мы ездили с ним в Вологду к Астафьеву? Царство ему небесное, таких сибиряков уже, наверно, и нет среди писателей, художников, краеведов.

— А если и ещё бутылочку “Таманского погребца” распечатать, то можно вспомнить и Юрия Лоцица, и его сибирские повести. — Я повернулся плечом к Люсе. Она улыбалась. — Я и не знал, что он в малые годы жил под Бердском. Он ведь не только про Кирилла и Мефодия писал да про Дмитрия Донского.

— Позвонить бы Вале Распутину, — сказал Виктор Фёдорович. — Я не ответил на его письмо.

— Он мне как-то пожелал совершить одно путешествие: “Нельзя, Вита, помирать, не навестив Тобольск”. Уж теперь не навещу. Надо было не в Коктебель ездить (гулять по набережной, замыкаться над столом, пить вино и играть в покер), а в Тобольск.

— У нас, русских, нет этого: поклониться, допустим, воеводам.

— А кланяться есть кому. Фамилии звучные. Лобанов-Ростовский Фёдор. Посылали его “Кучума-царя выгеснить”, значит, у нашей Оби был, под теперешней Верх-Ирменью. Какой-то Бутурлин Ефим убит “вором Петрушкою”. 20 августа 1598 года бился на той же нашей реке Оби, и погибли брат Кучума, два его внука и, подозревают, сам Кучум. Да ещё пять сыновей Кучума в плен взяли, восемь царик. Я у того места побывал. Всё забыто. Как и в Тамани. Так и живём.

Я задержался, меня не отпускали, но день настал. Накануне мы ходили в бор и постояли у моей любимой сосны.

*(Продолжение следует)*